

МАКС ЗИНГЕР



112 ДНЕЙ  
НА СОБАКАХ И ОЛЕНЯХ

ГЕОГРАФИЗ 1950



**Макс Зингер**  
**112 дней на собаках и**  
**оленях**

# **Оформление художника Н. М. Кузьмина**

## **Рисунки в тексте автора**





# Я видел зарю новой жизни



После окончания Великой Отечественной войны автор этой книги летел с Северного флота, места своей службы, домой, в Москву. Давно забылись воздушные тревоги. Полярный воздух был беспредельно чист. Под самолетом голубели ровные круглые озера — воронки от фашистских бомб, напоенные снеговой водой. Пятнами лежали на нашем пути ржавые болота. У опушки леса пылал большой костер. Глядя на этот костер, мне вспоминалась далекая колымская тайга, которую я проезжал на собаках в лютые морозы...

...Колымская ночь застала нас с юным каюром-якутом Андрюшей Слепцовым далеко от селения. Собаки остановились. Наиболее уставшие мгновенно легли на снег. И сколько ни погонял каюр, сколько ни убеждал их и словом и остолом — палкой, они не двигались с места.

— Пристали собачки! Дорога худая-худая! — сказал мальчик. — Придется, однако, туто-ка заночевать!

Андрюша не спеша достал мешок с мороженой нельмой. Собаки вмиг оживились, предчувствуя сытный ужин. Андрюша так же не спеша, деловито, разрубил каждую нельму пополам и стал кидать куски в первую очередь собакам, наиболее старательно тянувшим нарты. Насытившись, все легли клубочками друг возле друга.

Крупные звезды прятались в дрожащих огнях северного цветного сияния. Зачарованно смотрел я на нарядное небо. И вспомнил: сегодня 21 декабря — день рождения товарища Сталина! Я сказал об этом своему юному другу Андрюше.

Мальчик всполошился.

— Такой день! Такой день! Как же нам его отметить?

Он побежал в тайгу и вскоре вернулся с охапкой валежника. Потом он пошел за второй, третьей. И запалил костер. Огонь с шипением и треском пополз змейками по сухому валежнику. Пламя высоко поднялось к небу.

— Какой огонь! Какой огонь! — восторгался Андрюша, подбрасывая в костер валежник. — Большой-большой, в честь самого большого человека!

Андрюша отвязал чайник, болтавшийся за грядкой нарты, и сварил крепкий, как пиво, чай. После мучительной езды по снежным застругам нам стало тепло и радостно от костра и чая.

Костер был такой большой и яркий, что мы позабыли на время о красоте чудесного северного сияния. Собаки, почувствовав тепло,

привстали, потряхнули свои пушистые шубы и расположились поближе возле костра.

— Вы видели товарища Сталина? — вдруг спросил мальчик.

— Да, видел, — ответил я, и лицо Андрюши засияло от радости.

— Какой счастливый, — сказал Андрюша, трогая меня за рукав кухлянки. — Видел товарища Сталина!.. У нас, якутов, говорка есть: товарищ Сталин такой сильный богатырь, что может пробить в тайге большую дорогу до самого океана! Правда ли, что он соединяет реки с реками и моря с морями? Правда ли, что делает большие дороги в тайге? Правда ли, что большевики умеют летать как птицы? Правда ли, что умеют ездить даже под землей?

Я ответил, что это правда, и стал рассказывать мальчику о товарище Сталине, о советской власти, о том, что она делает все, чтобы лучше жилось трудящемуся человеку на родной земле.

Андрюша слушал меня, поправляя большой палкой костер, и когда я заговорил о самолетах, необычайно оживился.

— Самолеты! Самолеты! Они даже сняты мне... Каждую осень от нас на юг летят птицы. Ой, и много же их летит! Словно туча по небу от края и до края. Даже солнышко затмевают... Когда мне было шесть лет, попросил я деда: привяжи меня к лебедю! — Это еще зачем? — удивился дед. — А хочу, однако, землю нашу, советскую, посмотреть всю от Холодного до Теплого моря. — Дед покачал головой: — Подожди, Андрюша, товарищ Сталин пришлет к нам в тайгу других лебедей. Проезжие люди говорили: будут скоро здесь летать самолеты с большими красными звездами на крыльях. И мы с тобой на этих машинах за тысячу верст быстро слетаем, куда хочешь.

— Правда ли все это? — спросил меня Андрюша.

— Правда! — ответил я.

— Тогда на первой же машине полечу непременно в Москву, к товарищу Сталину, учиться летному делу, — сказал мальчуган, сверкнув глазенками.

— Посмотрю сверху, как птица, на родную Колыму, на родной дом. Ведь еще ни один якут пока не летал на самолете...

Все это вспомнилось мне через много лет, на пути с фронта в Москву.

Мне попал в руки старый номер иллюстрированного журнала. Мое внимание особенно привлек один из фотоснимков — портрет молодого летчика, награжденного боевыми орденами. Показалось знакомым его скуластое, смуглое лицо. Где видел я этого жизнерадостного, улыбающегося человека? И чем больше всматривался в портрет, тем отчетливее вставала передо мной далекая колымская тайга. Вспомнился большой костер, зажженный якутским мальчиком-мечтателем Андрюшей Слепцовым в честь рождения Великого человека...

Под фотографией я прочел: «Андрей Иванович Слепцов, командир самолета, награжденный орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне».

Значит, Андрюша сменил собачью упряжку на самолет, защищал Родину от фашистов.

— Чем вы заинтересовались? — любопытствовал мой сосед — инженер.

Я передал ему журнал и рассказал о зимней колымской ночи и большом костре на берегу реки.

— Ничего удивительного! — ответил сосед, возвращая журнал. — Это и есть наша советская действительность. Пастушонок стал прославленным советским генералом, заводской рабочий — министром, колхозник — ученым с мировым именем, лауреатом Сталинской премии! Это и есть советская жизнь.

...Прошел месяц. Я собирался лететь на юг. На одном из центральных московских аэродромов во время заправки машины кто-то подошел ко мне сзади и положил легонько руку на плечо. Я обернулся и увидел молодого человека в кожаном летном реглане.

— Неужели Андрюша?

— Так точно, ваш давний спутник. Пересел, как видите, с нарты на машину. По путевке комсомола... А помните костер близ Колымы? — мечтательно спросил он. — В честь самого большого человека! Это ему — нашему отцу и другу — мое горячее, сыновнее спасибо!

И потекла взволнованная беседа о Крайнем Севере. Андрей Слепцов рассказал, как стал летчиком. А я вспомнил свою поездку 1932 года из Чаунской губы на запад через Восточную тундру, через Островное, за пять тысяч километров по кочевьям чукчей и заимкам якутов, через Колыму, Индигирку и Яну к столице Якутии и далее в Москву.

Андрей Иванович попрекнул меня, что я не написал поподробнее об этой поездке. Чем был Север и каким он стал...

— Ведь о нашем крае знают очень мало, — сказал он.

Вернувшись домой, я разыскал в одном из дальних углов своего стола разбитую, запыленную связку тетрадок и восстановил в памяти все события давнего и трудного похода.

Конечно, далеко вперед за эти годы шагнула советская Колыма. Новые пути пролегли по ее карте. Но прав Слепцов: мало, очень мало мы знаем об этой далекой северной стране.

Книга «112 дней на собаках и оленях» — повествование о том, что я видел в пути полярной ночью, о первых ростках социалистической жизни на нашем Крайнем Севере, о первых комсомольцах на северных мысах, о простых советских людях — жителях тундры и тайги. Кое-где в книге мною изменены имена упоминаемых лиц, что позволило дать больше портретного сходства.

Путь от Чаунской губы до Якутска, пройденный за 112 дней, можно пролететь ныне за одни сутки. Но нартенный путь в отличие от воздушного позволил мне ближе увидеть жизнь наших северных окраин. Реки Росомашья, Большая Бараниха, Малый Анюй, Колыма, Индигирка, Яна и Лена, хребты Северный Анюйский, Черского и Верхоянский, десятки

перевалов, редко посещаемых людьми, пройдены мной во время похода. Но главным были люди, с которыми меня познакомил и сдружил дальний путь.

Разве можно забыть каюра-чукчу Атыка, знатока своего края, бесстрашного следопыта, мастера своего дела; смелого колымского партизана Багала; или первого колымского лоцмана Кешу Четверикова, потомка колымских казаков-первооткрывателей? Разве можно забыть якутскую школу-интернат в глубокой тайге или активистов пушнотранспортной артели «Терюролах», что значит «Рождается жизнь»?...

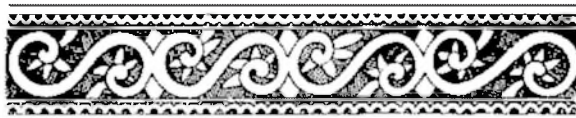
Я видел зарю новой жизни на Крайнем Севере.

Книга моя — о вчерашнем дне советского Севера. Но уже в этом вчерашнем дне пробивались бурные ростки новой жизни. Теперь они дают свои чудесные плоды.

*Автор*

Москва, август 1950 г.

# Чукотскими берегами



Летом 1932 года суда Первой северо-восточной экспедиции начали свой долгий путь из Владивостока. Транспорты везли машины, продовольственные грузы и людей для новых промышленных районов, возникавших в Заполярье. Среди пассажиров были научные работники и радисты, инженеры и метеорологи, медперсонал и учителя, рабочие разных специальностей.

Колонна судов шла вдоль чукотского берега.

Первое наше знакомство с Чукоткой состоялось в бухте Провидения.

Завидя на горизонте наши суда, чукчи сразу же спустили на воду байдарки и вскоре пестрые цветастые камлейки замелькали на всех кораблях. Гости заглядывали в кают-компанию, гуляли по спардеку, в коридорах, толпились возле камбуза. Всюду можно было увидеть скуластые, улыбающиеся, довольные лица чукчанок, исчерченные тонкими линиями татуировки.

На грузовом пароходе нашей экспедиции чукчи впервые увидели корову. Ее немедленно назвали «ненастоящим оленем». Американцев чукчи называли «ненастоящими людьми», а себя луораветланами, то-есть настоящими людьми.

В деревянном круглом домике провиденской школы мы познакомились с учителем-комсомольцем Алексеем. Зимой он попадал к себе в дом по глубокой траншее, вырытой в снегу; по этому снежному окопу пробирались на уроки и ученики-чукчи. Ветры наметают здесь так много снега, что небольшие яранги совсем скрываются под сугробами.

Чукотские старожилы рассказали нам много интересного об этом далеком уголке советской земли.

За год перед нашим приходом на охоту выехала большая группа чукчей и эскимосов. Стояла ясная погода. Но Арктика обманчива. Кое-кто по неуловимым признакам предугадал шторм и заблаговременно вернулся на берег. Семнадцать человек, наиболее решительных и смелых, вытащили байдары на береговой лед, чтобы здесь переждать непогоду. Льдину оторвало штормом от берега и понесло в море.

Быстро скрылись в тумане берега. Вначале еще слышался лай собак. Затем и он растаял в тумане. Когда ветром раздергивало завесу, вдалеке открывались знакомые сопки. Усилилась стужа и захлесты. Несколько человек обрезали рукава кухлянок и закутали ноги. Это не помогло. Трое эскимосов стали на льдине шаманить. Они обещали злым духам ценные подарки в случае спасения. Один бросил в дар морю свой новый винчестер, другой дал клятву по возвращении сломать свою новую байдару.

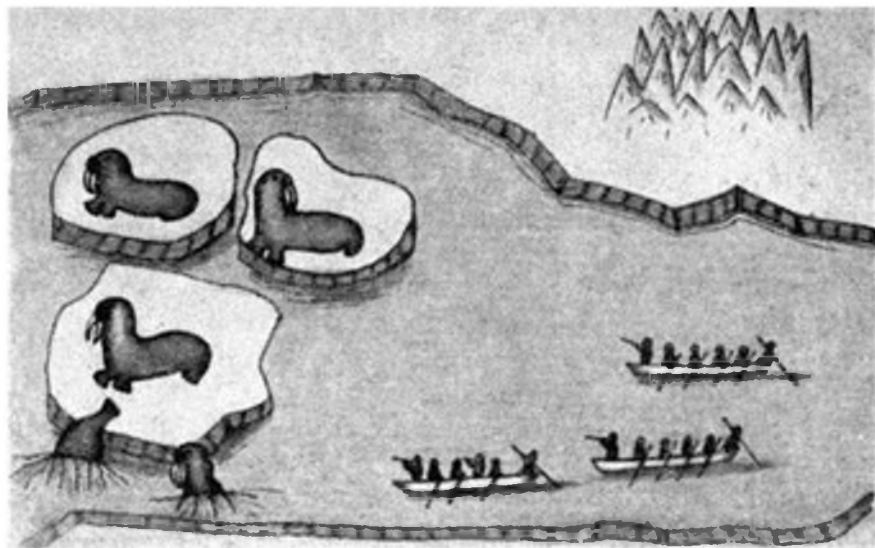


К счастью, на льдину вместе с людьми взобрался большой морж. Эскимосы убили его. Мясо моржа было единственной их пищей.

Три раза льдину приносило к берегу. Но только на пятнадцатый день люди смогли выйти на берег близ селения Кивак.

Спаслись все, кроме одного Матлю. Вернувшиеся объяснили смерть Матлю случайностью: переходя на берег, он будто бы провалился под лед и утонул. Все видели, как он выплыл, стал карабкаться на тонкий лед, но лед обломился под тяжестью человека, и Матлю навсегда скрылся под водой. Значит, так было угодно духам моря...

И только год спустя один из эскимосов рассказал по секрету местной учительнице, что Матлю пожертвовал собой ради спасения товарищей. Никто не препятствовал этому. Матлю не был женат, у него не было детей. Он добровольно решил погибнуть ради других. Шаманы, находившиеся на льдине, обещали ему прекрасную загробную жизнь — в «потустороннем мире», — где для хороших людей приготовлено много звериного жира, новые вельботы, меткие винчестеры и просторные яранги с большим и теплым пологом из двенадцати оленьих шкур...



## **Охота на моржей с байдарок**

### **(По рисунку ученика 4-го класса Сиренинской школы эскимоса Ари)**

Когда эскимосы вернулись в селение, они выполнили обещания, данные злым духам во время их великого гнева. Один закинул далеко в тундру свое охотничье ружье, другой разломал свою новую байдару...

Просторная фанерная яранга учителя была чисто убрана, на стенах висели карта и портреты членов Политбюро. На самодельных полках лежали книги.

Вместе с нами в гости к учителю зашли двое чукчей. Они рассказали об «Артель-кляуль», как прозвали здесь сотрудника Зверпрома, приехавшего организовывать артели зверобоев. Артель-кляуль значит человек, делающий артели. Кулаки не хотят артелей. Они ненавидят артель-кляуля. Но бедняки-охотники уважают его и слушают его советы.

Промысел моржа — основа хозяйства и жизни береговых чукчей. Мясо моржа — пища, его жир — топливо и свет. Шкуры моржа идут на пошивку обуви и одежды, на постройку яранг, на поделку легких и быстрых байдар. Из моржового клыка вырезаются не только чудесные игрушки, но многие мелочи бытового обихода. В обмен на моржовые шкуры, жир и кость береговые жители получают меха от чукчей-оленьеводов, кочующих в тундре.



## **Охота медведей на моржа**

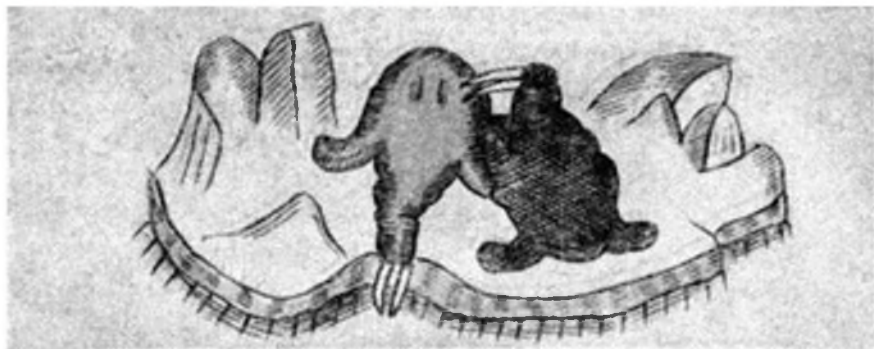
**(По рисунку ученика 4-го класса  
Сиренинской школы эскимоса Косыги)**

В быт чукчей уже давно вошло огнестрельное оружие. Зверобои — отличные стрелки. Они хорошо управляют и с современными моторными вельботами. Но таких вельботов еще мало. Много упорного труда надо затратить, чтобы скопить деньги на покупку вельбота. Только кулакам было по средствам купить вельбот. Будут артели — много будет вельботов на Чукотке.

Нам рассказали, что на Чукотке известны три моржовых лежбища: Инчоунское — на мысе Инчоун (мыс Инцова), Аракамчеченское — на острове Аракамчечен и Ретькинское — на мысе Ретькин.

Инчоунским лежбищем владел еще недавно шаман Тынзтэйгин. Он часто запрещал бой моржей на лежбище и отбирал у охотников звериные головы и клыки.

На Инчоунское лежбище собирается множество зверей. Лежбище небольшое, и зверям бывает так тесно, что они ложатся в два и даже в три ряда, друг на друга, давая нередко своей тяжестью более слабым. Каждый раз, когда моржи покидают лежбище и уходят в море, на берегу остается до полутора десятков задавленных зверей.



## **Поединок моржей**

### **(По рисунку уэленского костереза)**

Моржи ложатся обычно в августе, с наступлением первых темных ночей. В это время с Инчоунского лежбища доносится истошный рев, чукчи за мысом не могут заснуть. На прибрежной гальке моржи справляют свои брачные пиры, отдыхают и спят. В поединках из-за обладания самкой, самцы наносят друг другу страшные удары клыками в шею, отчего у старых моржей всегда на шее много рубцов. Чем старше морж, тем больше у него рубцов, — следов отчаянных поединков. Зовут таких моржей «шишкарями».

Чтобы не пугать стадо стрельбой, моржей убивают копьём под ласт, в шею или спину. Убивают строго определенное количество, необходимое для поддержания жизни берегового населения. Иначе, как говорят старые чукчи, моржи могут обидеться и наслать беду на яранги или уйти навсегда с лежбища.

«Хозяин» Аракамчеченского лежбища Акр-шаман до советизации Чукотки всегда ходил в женском комбинезоне — керкере, объясняя это тем, что дух, покровительствующий ему, — мужчина. Чтобы снискать его расположение, Акр-шаман и носил женскую одежду.

На берегу знали, что этот человек убил свою молодую жену. Ее нашли на Аракамчечене, пронзенную копьём. Не в характере чукчей



расспрашивать соседа о его семейных делах. Чукчи долго молчали об этом страшном происшествии...

Жестокого Акр-шамана все боялись в округе. Чтобы задобрить его, чукчи после каждой охоты приносили шаману моржовое мясо, дарили табак.



## **Охота на пловучих льдинах**

### **(По рисункам чукотских костерезов)**

Однажды осенью сильным штормом оторвало льдину от берега. Акр стал распускать слухи, что дух-покровитель прогневался на чукчей. Пусть зверобои больше уважают Акра-шамана, больше приносят ему подарков, чтобы не подвергнуться судьбе тех, кто унесен в море.

Эскимос Матлю — председатель первого и самого лучшего колхоза на мысе Чаплина был ярым противником Акр-шамана. Шаман решил «испортить» Матлю. Акр отрезал у трупа в тундре палец, высушил его, истолок в порошок и подмешал в пищу. Матлю не отказался от угощения Акра, но и не умер.

Еще задолго до того сильно заколебалась вера чукчей в шаманов. Один пьяный шаман попросил знакомого чукчу выстрелить в него, сказав, что тело шамана не боится ни пули, ни копья. Чукча выстрелил и наповал убил хвастуна. Акр-шаман еще до суда был уличен в том, что таскал из чужих капканов добычу. А кража — тягчайшее преступление для чукчи. Акр-шаман потерял всякое уважение. Его дети, с которыми он обращался очень жестоко, отказались от него и вступили в колхоз.

По амнистии в честь годовщины Октября Акр-шамана оставили в бухте Лаврентия. Здесь он сбросил с себя женский костюм и стал ходить в обычной мужской одежде. Изредка он еще пробовал пророчить, но его предсказания вызывали лишь смех у сородичей.

Шаманы распространяли среди чукчей веру в загробную жизнь. Умерший своей смертью шел, по их словам, в землю, где всегда темно и грязно. Тот, кто тонул на море, жил затем под водой, где всегда сыро. Из-за утопленников и бывают дожди на Чукотке. Кто умирал от близкого человека или погибал от ран, тот шел в просторную, чистую ярангу, где жил весело и сытно. Это — лучшая из смертей.

Медленно отступали в прошлое эти глупые и наивные суеверия.

Советские люди, придя на Чукотку, принесли с собой новую культуру, книги, кино, газеты и радио.

Колхозная жизнь вселяла в людей веру в свои силы, в силы коллектива, им теперь не было нужды задабривать шаманов. Вместе с новой жизнью угасала вера в пророчества шаманов, в их чародейство.

...В бухте Провидения мы впервые увидели чукотские танцы. Танцевать на Чукотке могут все, но известностью пользуются лишь немногие из танцоров. Танцуют под бубен. Чукотский музыкант своей игрой на бубне может заставить плясать даже сумрачно настроенного человека.

В яранге тесно. Танцор старается занять лишь площадь, находящуюся под его собственными ступнями, и больше ни вершка. Но зато как живы и стремительны движения его рук. При всей динамичности танца танцор использует лишь пространство над сидящими зрителями.

Мы увидели замечательного танцора Увауна.

Медленно и плавны вначале движения рук Увауна. Спокойно и размеренно начинается танец. Он рассказывает нам о том, как на возвышенном месте — на скале — одиноко сидит старик и всматривается в даль. Он смотрит из-под ладони, ищет в море моржей. И вот, наконец, старик со своего глядя увидел зверя.

Танцор вскрикивает гортанно: «Айвогыт!» И сразу, гулко и тревожно гудит бубен, вскрики становятся отрывистыми и поспешными. Нельзя терять ни минуты. В бухту идет морж. Он несет чукчам свое вкусное, жирное мясо, крепкую кожу для байдары, жир для светильников.

Люди бегут к вельботу. Они тащат его поскорее с каменистого берега. Вот вельбот в море. Плывут зверобои...

Все это танцор показывает, не двигаясь с места ни на шаг, одними лишь движениями кистей рук, корпуса и головы.

Удары бубна напоминают шум прибоя. Они затихают неожиданно, чтобы затем вдруг снова рассыпаться тревожными звуками.



# Охота на плавучем льду. Слева — байдара

## (По рисункам чукотских костерезов)

На море туман. Чукча всматривается, ищет среди льдов дорогу к моржу. Широки на горизонте просветы чистого неба. Радостны удары бубна. Весело, в такт им, разносятся дружные ритмичные хлопки в ладоши. Танцор стоит на одном месте. Его ноги легко отбивают такт бурно нарастающего танца. Капли серебристого пота блестят на смуглом скуластом лице. Бубен иступленно заливается. Морж плывет, но его настигает вельбот. Вот уже близко показалась клыкастая голова. Руки танцора рисуют эти острые и длинные клыки. Морж защищается, он поднимается из воды, откидывает назад мощную голову, бьет клыками направо и налево. Или вдруг пытается таранить днище вельбота.

Но молниеносен удар гарпуна, страшный по силе и меткости! Танцор выбрасывает вперед руки в белых перчатках и всматривается в даль, куда летит невидимое для зрителей копье. Крик Увауна победный и восторженный. И вместе с ним вскрикивает вся наэлектризованная танцем яранга. Копье долетело до моржа. Он ранен и загарпунен.

Танец окончен. Бубен смолк. Танцор не спеша снимает перчатки и вытирает обильный пот.

Танец моржа, нерпы, вороны, медведя, чайки, зайца, морского прибоя, — все это показал нам талантливый Уваун.

Советская школа научила юных чукчей умыться с мылом, губкой и водой. Уваун посвятил этому новому явлению жизни особый танец — танец умывания.

Чукчи видят погрузку на советских пароходах, и сами нередко принимают в ней участие. Отсюда возник новый танец. Уваун исключительно точно передает в танце приемы работы кочегаров. С картинной правдивостью проходит перед зрителями работа моряков.



# **Товарообмен у береговых и оленных (кочевых) чукчей (чаучу)**

## **(По рисункам чукотских костерезов)**

Но вот и на самом деле погрузка закончена. Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами.

Бухту Провидения оглашают гудки. Колонна судов, вытянувшись в кильватер, выходит на север, в Чукотское море.

Но встреча с чукчами и эскимосами — не последняя.

В Беринговом проливе к борту нашего флагманского корабля-ледореза «Литке» подлетела легкая байдара. Два юных эскимоса — комсомольцы Каля и Касыга взбираются на корабль. Мы знакомимся. И сидя в кают-компании, не спеша прихлебывая крепкий горячий чай, они рассказывают о себе, о своей жизни и мыслях о будущем, которые так характерны для молодой советской Чукотки.

Прошлой осенью Каля и Касыга оставили свои дымные яранги и уехали учиться. Комсомольцев везла на культбазу небольшая шхуна. У острова Аракамчечен сильный шторм надолго задержал ее. Только в середине октября ученики прибыли на Лаврентьевскую культбазу.

В ту пору морской зверь еще ходил по морю. Птицы табунились и улетали на юг. Часто наползали туманы, налетала пурга. На культбазе было тепло и уютно. Комсомольцы жили и учились в просторных, светлых комнатах.

Перед началом учения Каля ходил с охотниками бить моржей. Свежий ветер далеко отнес их вельбот. Холодная осенняя ночь накрыла людей в море. Вокруг, сколько хватал глаз, белели льды, пригнанные с севера течениями и ветрами.

Зыбь заглохла. Бригадир выбрал льдину понадежнее и втащил на нее вельбот. Старик-охотник бросал в воду тонкие ломти моржового мяса, чтобы умиловить духов моря, убавить их ярость, спасти вельбот с людьми...

Так началось приключение, которое познакомило Калю с чужим миром.

Долгие сутки носило льдину в густом тумане, но вот, наконец, туман рассеялся, тогда эскимосы увидели рядом с собой незнакомую землю. Это был американский остров Святого Лаврентия.

По неписаным законам Севера американские эскимосы, занесенные к нашим берегам, пользовались гостеприимством советских людей. В свою очередь и советские эскимосы рассчитывали найти дружеский прием у американских сородичей.

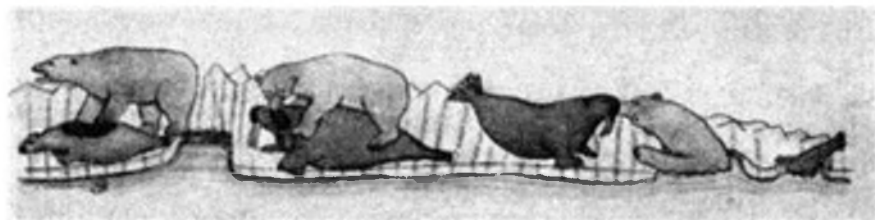
Льдину с вельботом совсем близко поднесло к берегу. Тогда бригада — их было восемь эскимосов вместе с Калей — сбросила вельбот на воду и на веслах пошла к острову.



Местные эскимосы провели охотников в свои яранги. Появление советских эскимосов всполошило американского миссионера. Он зашагал по ярангам и, поправляя роговые очки, сползавшие на кончик длинного и красного носа, тревожно шептался с хозяевами. Американца беспокоила мысль, как бы советская пропаганда не проникла во вверенный ему район.

И все же американские эскимосы рассказали гостям о том, как худо живется на американской стороне. Всей жизнью здесь управляет торговец и миссионер. Летом к острову Лаврентия приходит пароход. Он увозит костяные изделия из моржового клыка, белых и голубых песцов и китовый ус. А в обмен остается только спирт. Всем оружием и вельботами владеет торговец. И сколько ему ни носи, — все равно будешь жить впроголодь, все равно останешься его должником. Теперь торговец стал забирать и шкуры, и жир — все, что нужно для жизни. Болезни одолевают зверобоев. Смертность резко увеличивается. Как жить дальше — никто не знает.

Так Каля увидел жизнь, о которой он знал лишь по рассказам старых людей. Он охотно рассказал американским сородичам, какая новая жизнь расцветает за невидимым рубежом границы. И добавил, что в недалеком будущем они, советские эскимосы, ожидают еще лучшую жизнь...



## **Нападение медведей на моржовую залежку**

### **(По рисунку уэленского костереза)**

Спустя семь лет я встретил Калю и Касыгу в Ленинграде. Они учились уже в Институте народов Севера. Их одели в черные морские шинели. Фуражки их были украшены голубыми флажками Северного морского пути. Это была форма студентов Института народов Севера. Она хорошо подходила северянам, потому что все они с малых лет люди моря, настоящие бесстрашные моряки...

В Беринговом проливе, у входа в холодное, коварное Чукотское море мы говорили о новой жизни, которая во многом зависит от самих чукчей и эскимосов, говорили о льдах, ветрах и течениях, господствующих здесь, у края земли.

Ветер пригоняет к берегам лед, на льду — стада моржей и тюленей, кормильцев берегового человека. Если ветер отжимной, то вместе со льдом он угоняет морского зверя. Это — несчастье. Только прижимные ветры помогали людям Чукотки промысливать морского зверя.

Так было веками... Ныне у чукчей уже появились быстрые вельботы и отличные советские ружья. Чукчи могут промыслять зверя и наперекор ветру.

Если раньше случалось, что охотник возвращался домой с пустыми руками, он брал «пок» — пузырь из нерпичьей шкуры, служивший буюм и поплавком, — и ударял в него ногой. Пок с треском лопался. Это была жертва. Охотник верил, что после жертвоприношения к нему непременно придет удача: он добудет нерпу, лахтака или моржа, вновь загорится в яранге огонек светильника, станет тепло и сытно, захочется пить и плясать.

Чукча жил надеждой на помощь добрых духов. А Каля и Касыга знают, что человек — сам творец своего счастья. Об этом они прочли в книгах. И они не будут приносить жертвы — губить свой пок.

В царское время к Наукану и другим чукотским селениям часто приходили суда американских контрабандистов. Науканские эскимосы прозвали их аньяхпакъюж, что означает «люди с больших железных лодок». Эти аньяхпакъюки привезли на чукотскую землю табак, виски и дурные болезни...

Американские хищники дурачили чукчей, пользуясь их доверчивым характером. Высокоценную пушнину они выменивали за безделушки и спирт.

А один из американцев вовсе придумал подлую историю. Он заявил чукчам, что злой дух — кейли, обитавший у него на шхуне в носовом трюме, неожиданно убежал на берег и может наделать там много бед. Шаман, подкупленный американцем, подтвердил это. По секрету он стал рассказывать чукчам, что американец предлагает изловить духа, но для этого ему необходима упряжка в шестнадцать самых лучших собак, и затем за поимку духа ему следует уплатить по одному песцу с каждого чукчи. Запуганные шаманом чукчи, после долгих раздумий, согласились и обещали американцу за хорошую работу по песцу с каждого человека.

Американец поставил большую клетку на верхней палубе у носового трюма своей шхуны. Крикнув на собак, он помчался вместе с шаманом в тундру. К вечеру оба проходимца вернулись обратно, клетка с верхней палубы к этому времени исчезла. Тогда американец через шамана объяснил чукчам, что он все-таки загнал духа обратно в клетку, но тот оказался настолько сильным и так отчаянно бился в клетке, что вместе с нею упал в море и утонул. Купец получил обещанную награду — с каждого по песцу — и быстро покинул Чукотку. Не остался без награды и шаман. За плутовство, обман своих сородичей, он получил от американца большой бочонок «огненной воды» — виски.

Бывало и так, что американские суда, останавливаясь на рейде, заманивали к себе в гости чукчей вместе с женами и дочерьми. Американцы напивали мужчин допьяна, затем высаживали их в байдары, а женщин и девушек оставляли на судне. Некоторые из женщин потом возвращались глубокой осенью. Но многие исчезали бесследно. Таких случаев немало помнит Чукотка.

Это — тоже прошлое.

Никогда теперь американские хищники не появятся в водах Чукотки.

Об этом говорили Каля и Касыга — юная поросль, будущее народов, населяющих крайний северо-восток советской страны.

Мы тепло попрощались и пошли дальше — к берегам Колымы. И когда льды задержали нас у мыса Рыркарпий (ныне мыс Шмидта), мы снова увидели, что и здесь строится и крепнет новая жизнь.

В селении Рыркарпий (рырка, по-чукотски, — морж) было семнадцать яранг и две землянки. В одной из яранг нас встретил учитель, молодой комсомолец Кудрин. Их было двое, русских комсомольцев, на этом далеком мысу — учитель Кудрин и радист Рыркарпия, голубоглазый и светловолосый энтузиаст Безногов.

Зимой и летом радист поддерживал связь с внешним миром и с островом Врангеля. Но, кроме того, он открыл здесь курсы мотористов и в короткий срок обучил молодых чукчей управлять руль-мотором. Чукчи научились не только управлять, но даже ремонтировать мотор.

Заведующий факторией читал чукчам лекции по кооперации, учитель знакомил с правдой об окружающем мире. Жена заведующего факторией ратовала за гигиену в быту. Это были первые курсы советской жизни и советского кооперативного строительства на северном берегу Чукотки.

Школа здесь работала первый год, но за этот год дети отлично научились писать и читать по-русски. А учитель изучил чукотский язык.

Сын Акко — молодой комсомолец Эттувий уехал учиться в большой русский город, где людей во много раз больше, чем всех чукчей на свете. Перед отъездом он был в Чауне делегатом и секретарем первого районного съезда Советов. В своем родном Рыркарпии он докладывал на собрании о решениях чаунского съезда. Чукчи с большим вниманием слушали комсомольца Эттувия. Это было едва ли не одно из первых собраний жителей Рыркарпия.

Эттувий, сын старого Акко, не являлся исключением. Из семнадцати яранг Рыркарпия три собирались перекочевать в Уэлен; их главные охотники, хозяева этих яранг, уехали учиться в Ленинград и Хабаровск.

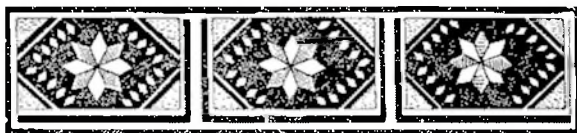
Ярко светило солнце над Рыркарпием. Ослепительно блестели льды. По разводьям к ледорезу «Литке» шла байдара, оснащенная руль-мотором. Комсомолец-чукча управлял ею. Он был в пыжиковой кухлянке, в нерпичьих штанах. Байдара неслась между торосами среди разводий, как чайка. Юный чукча ловко правил одной рукой. С мостика корабля мы любовались его работой и не могли оторвать глаз от горделивой фигуры кормчего — одного из учеников Безногова.

К берегам Холодного океана комсомольцы принесли свой молодой страстный энтузиазм. Они не только расчищали дорогу новой жизни, они сами и строили эту жизнь, — колхозы, школы, радиостанции, — новую, советскую Чукотку.





# Сборы в путь



Наш караван прорвался сквозь льды к устью Колымы, протрубил зорю у безлюдных берегов, выгрузил в бухте Амбарчик горы продовольствия и машин, но не вернулся в тот год во Владивосток. Советские моряки тогда еще мало знали Арктику. Это были первые годы ее освоения...

В моей каюте слышалось, как за бортом: скрипели карты по заснеженному льду Чаунской губы. Вахтенные матросы шли добывать лед на пресном озере. Там пилили лед и свозили его на «Литке», в кубовую.

Так же как в недавние дни, когда корабль прокладывал путь среди льдов, в положенные часы по коридорам разносился призывный звонок буфетчика, приглашающий моряков в кают-компанию. К этому времени на столах чинно стояли тяжелые массивные флотские чашки и тарелки. На их глазури были нарисованы голубой ободок и морской флаг Советского Союза, развевающийся на ветру...

После уборки стола буфетчик садился за морскую грамоту. Он поступил в морской техникум, открывшийся в Чаунской губе на зимующих кораблях. Да не только он, — все комсомольцы стали студентами. Кочегары учились на механиков, матросы — на штурманов. Организатором этого большого дела был секретарь партийной организации зимующих судов, штурман дальнего плавания Константин Козловский. Ему деятельно помогал профорг каравана Борис Конев — матрос с «Литке».

Для меня начало зимовки сложилось неудачно.

Эпидемия гриппа приковала меня и ряд товарищей к постели. Целыми днями я беспомощно глядел на подволок каюты, аккуратно окрашенный белой эмалевой краской. В запыленный иллюминатор виднелся гористый берег, окаймленный высокими торосами. Из-за поздних штормов, ломавших несколько раз ледяной покров, море замерзло в этот год неровно, и торосы стояли, словно стража, высоко подняв ледяные пики.

Приближалась пятнадцатая годовщина Октября.

Порой, когда я забывался в жару, мне чудилось, что я в родной Москве, в кругу близких друзей, и возле меня сынишка рисует двухтрубный ледокол «Красин». Потом сознание возвращалось, я снова видел подволок, сверкавший эмалью, да маленькое зеркало, страшившее меня отражением бледного, обросшего, незнакомого лица.

В каюте тускло светила электрическая лампочка.

В середине октября на зимующих судах было решено потушить котлы и перейти на камельковое отопление. Стремительно приближалась полярная

ночь. Сберегая энергию и труд радистов, командование разрешало морякам отправлять на материк только двадцать трепетных слов в месяц.

На двенадцатый день моей болезни наступил перелом. Температура упала сразу, как при тифе после кризиса.

Зашел Козловский. Он рассказал мне, что готовит доклад для Москвы о проделанной работе и о нуждах зимующего каравана. Этот доклад повезу я.

— Учти, — предупредил он, — надо успеть до весенней распуты попасть в Иркутск. Иначе весна застанет тебя в пути, испортит зимник и будешь ты горевать где-нибудь в Абые или Верхоянске. Посоветую доктору выдать тебе полстакана коньяку для скорейшего выздоровления. Ты его в чай добавляй. Средство хорошее, морское.

В первый день после окончания болезни я ходил ощупью, будто слепой. Касаясь обеими руками холодных, заиндевевших стен корабельного коридора, я с трудом добрался до нижней кают-компания. Здесь теперь зимовали кочегары. В кают-компания было шумно и людно. Два десятка человек тесным кольцом обступили любителей-боксеров. Кожаные перчатки мелькали словно головы тюленей, «выстающих» из воды. Противники наносили друг другу увесистые удары без всякой скидки на крепкую морскую дружбу. На берегу тренировались лыжники; по льду, где ветром сдуло весь снег, бегали конькобежцы. Работа, учеба и спорт занимали у моряков все свободное от вахт время.

В верхней кают-компания за чаепитием шел разговор о том, как лучше утеплить суда на зиму и лучше сберечь тепло в помещениях. Только что закончилось распределение преподавательских обязанностей среди комсостава и представителей научной части. Два судостроителя обсуждали детали предстоящего похода: они должны были пройти зимой на собаках до Колымы вместе с ударной бригадой моряков. Весной, когда удлинятся дни, эта партия начнет стройку барж из местного леса для летней разгрузки судов в Амбарчике...

На судах заканчивали обшивку бортов тесом. Простенки засыпали шлаком, утепляя помещения. Делались последние приготовления к зимовке.

По трапу я спустился на лед. От судна к судну рыжими лучами протянулись тропы. Они извивались между торосами, то сливаясь в одно русло, то снова расходясь в стороны.

Снежные низкие лиловые облака срезали вершины гор. В течение короткого светлого времени горы сияли снежными макушками. На свежей пороше виднелись точечные следы песка. Зверек ставил след в след, и путь его по снегу напоминал ровный пунктир чертежника.

В дверях каюты я столкнулся с Козловским.

— Принес тебе пакет, — сказал он. — Завернул в клеенку. Если даже нарты твои провалятся в наледь, пакет не подмокнет. Береги его и доставь до места! И себя, конечно, береги! Дело очень важное. Отъезд через несколько дней. Ни пуха, ни пера!

Пакет Козловского, прошитый суровыми нитками и украшенный пятью сургучными печатями, я уложил рядом с моими тетрадами, в которых были намечены контуры будущей книги о Севере.

Председатель Чаунского райисполкома, молодой энергичный Вася Косин выделил для дальнего путешествия через Восточную тундру чукчу Атыка.

Когда-то Атык был кочевником, оленным чукчей. Но бедность привела его на морской берег к морскому промыслу. Атык стал лучшим охотником Чаунской губы.

Приведя каюра в мою каюту, Косин сказал:

— Знакомьтесь! Атык! Его нарта под бортом «Литке».

Соберет упряжку и тогда тагам — поехали! Возьмите его на свое попечение.

Атык немного говорил по-русски. Я знал несколько слов по-чукотски: мури — я, тури — ты. Мури-тури, тури-мури, — это были мои первые чукотские слова. Но кое-как мы все же разговорились. Атык часто улыбался, показывая свои прокуренные крепкие зубы. Мы понимали друг друга без переводчиков, по мимике и жестам.

В моей каюте пустовала верхняя койка. Атык занял ее. Паровое отопление на всех зимующих судах уже прекратилось, сам флагман отапливался дымящими камельками. Моя каюта совсем не отапливалась. Замерзли чернила. Коптила свечка. Мы оба, Атык и я, опали в кукулях, спальных мешках из оленьих шкур. В них было достаточно тепло.

Косин несколько раз заходил ко мне на пароход справиться об Атыке. Он просил проследить, чтобы кто-нибудь случайно не обидел каюра. — «Атык, как ребенок, рассердится из-за пустяка и долго будет помнить».

Вначале я не придавал должного значения этим советам.

Несколько дней ушло на поиски меховой одежды для предстоящей поездки. Весь Певек состоял в то время из одного домика, землянки, да зимующих в Чаунской губе пароходов, и разрешить такой вопрос было довольно сложно.

И вот однажды, возвращаясь на судно, я увидел Атыка у борта парохода «Сучан». Тут же стояли его нарты. Из взволнованных слов Атыка удалось разобрать, что в часы моего отсутствия на «Литке» там что-то случилось. Несмотря на самые настойчивые приглашения, Атык отказался итти со мной на «Литке».

Дело принимало неприятный оборот. Пришлось срочно учинить «следствие». Оказалось, что Атыку на камбузе не дали чая, так как в долином кубе еще не закипела вода. И Атык, не поняв причины отказа, смертельно обиделся (чай и табак для него — предметы первой необходимости). Забрав собак, он ушел к другому пароходу, где люди казались ему более гостеприимными.

В конце концов жестами и словами я убедил Атыка вернуться за мной на «Литке».

Вскоре мы стали друзьями.

Я говорил ему, что скоро «мури и Атык — тагам Колыма»! Скоро я и Атык — тагам на Колыму! Тагам! Вперед! Поехали! — так говорят чукчи, когда уезжают от своих яранг за зверем. Так говорят они, когда собираются в путь по берегу или в тундру.

Тагам! — это чукотский клич «вперед»! Поехали! Самое бодрое слово на чукотском языке. Оно означает движение.

Тагам! — говорят оленные чукчи, снимаясь со своими стадами и ярангами в глубь тундры на поиски новых оленьих пастбищ. Это слово часто слышится и в тундре, и на морском берегу.

На Чукотке начался большой социалистический тагам. Мощные советские пароходы пришли к берегам Колымы и привели за собой из Владивостока первые речные суда для работы на недавно еще дикой и необжитой реке. Тракторы утюжили тундру в Амбарчике — на месте, где предстояло вырасти первому колымскому порту. Научные работники пришли большим отрядом обследовать богатства чукотских берегов. Советские самолеты уже реяли над льдами и тундрой. Комсомольские ячейки организовались впервые по мысам, где стояли, раскинувшись дымным лагерьем, чукотские яранги...

Накануне нашего отъезда в маленькой, тесной и низкой землянке, где было нестерпимо жарко от раскаленной докрасна железной печурки, собрались приехавшие из тундры районные работники Чауна: председатель Островного райисполкома чукча Там-Там, заведующий факторией с мыса Беллинга Вася Косин.

Я достал пушистый пыжиковый двойной малахай и новые пыжиковые конайты-штаны и заглянул в землянку. Опушка малахая, выделанная из меха собаки, закрыла мои глаза с боков, словно шорами защищая их от захлестов пурги. Полярники долго рассматривали мои обнуы...

Вася Косин стал полярником случайно. Всего лишь за год до нашего перехода в Чаун он работал на Дальзаводе в родном Владивостоке. Молодой фрезеровщик, как обычно, стоял у своего станка, когда к нему подошел секретарь райкома комсомола.

— Вася, на Север поедешь?

— На Север?! На Север поехать, конечно, интересно. Подумаю...

Он подумал и дал согласие.

Одновременно с Косиным крайком комсомола направил работать в Восточную тундру еще девятнадцать комсомольцев. В далекий край их доставил пароход «Лейтенант Шмидт».

Многих из этой славной «двадцатки» я позднее встретил в глубине тундры. Они уже понимали и говорили по-чукотски.

Сначала в новой и необычайной обстановке Васе Косину пришлось довольно трудно. Я читал в Певеке его дневник — толстую клеенчатую тетрадь, старательно исписанную карандашом.

Вот несколько записей из этого дневника.

«У богатого чукчи стадо доходит до трех и даже более тысяч голов, и с ним кочуют три, пять яранг. У бедняков оленей нет, они



пасут чужие стада. Ночью пастухи уходят спать в стадо. Зимой спят в тундре, на открытом воздухе, из-за плохой, ветхой одежды люди часто простужаются и болеют».

«Жених должен работать за невесту два-три года. Если после трех лет он не понравится, его выгоняют и ничего не дают за работу. Если он женился на дочери богатого, то потом всю жизнь работает на кулака».

«Кулаки собирают вокруг себя бедных дальних родственников. Они кочуют с ним, батрачат, получая самую старую одежду и самую скудную пищу. Они живут впроголодь».

«Кулак в стойбище считается вроде князька, а бедняки — его слугами. Я был в стойбище Кокака и разговаривал с бедняком Конетом. Приехал Кокак, крикнул что-то. Конет пил чай. Услышав голос хозяина, он бросил все и стремглав помчался распрягать оленей.

Был в стойбище Умыгина. Все работали, готовились к перекочевке. Только один Умыгин ничего не делал. Женщины и мужчины увязывали нарты, но достаточно было кулаку сказать полслова, как все побежали исполнять его приказание. Перед тем как хозяину зайти в полог, батрак выбивает оленьим ребром снег из его одежды и обуви».

«Жене сына Умыгина лет пятнадцать. Она готовила пищу, приготавливала полог. А когда сели кушать, то видно было, что она очень голодна. Но мяса взять не имеет права, ест только то, что ей даст хозяйка. А хозяйка сама ест мясо, невестке дает только кости. Та их и гложет. У бедняков куда лучше. Едят все одинаково».



## **Дележка медвежьего мяса**

### **(По рисункам чукотских костерезов)**

Богатые чаучу говорят: «Нельзя бедняков много кормить, толстые работают плохо». Как видно, эксплуататоры везде одинаковы, на всех широтах. Наша задача их обуздать».

Вася Косин стал патриотом Восточной тундры. Он ладно одет: на нем пыжиковый малахай, опушенный мехом черной собаки, и широкие, скроенные по-чукотски, штаны из неблюя (теплее штанов не найти на земле). Он был бы внешне совсем похож на чукчу, если бы не его сутулая фигура и очень высокий рост.

Мы заговорили об одежде, о своеобразной культуре чукотского народа, создавшего одежду, замечательно приспособленную к условиям климата и жизни в тундре.

Заведующий факторией, скептически осмотрев мои торбаза, покачал головой и сказал весьма авторитетно:

— У нас в тундре такие высокие не носят! Это ламутский покрой. Такими торбазами будете снег черпать, что ведрами. В них вечно будет полно снега. Вы их обязательно подкоротите! Чукотские штаны завязываются поверх обуви у щиколотки. Никакой снег тогда вам страшен не будет. А едете-то с кем?

— С Атыком, — ответил я.

— Тогда вас можно поздравить. С таким человеком я поехал бы хоть до Якутска.

Завязался разговор о том, чья упряжка лучшая в Певеке и почему.

У Атыка в упряжке своих собак лишь половина, остальные — сборные. Но лучше Атыка здесь никто не каюрит, да и путь через Восточную тундру и Островное никто лучше его не знает.

...Наконец, наши кухлянки, верхняя меховая одежда, готовы. Жена Атыка сшила к ним пестрые цветные камлейки. Это — матерчатый чехол, одеваемый поверх кухлянки для предохранения ее от сырости. Есть у меня и отличные лыжные палки. Они должны помочь на перевалах, облегчить крутые спуски и подъемы. С фактории был получен листовой «черкасский» табак для подарков чукчам и якутам и с той же целью несколько десятков кирпичей чаю и конфет для детей.

Местные работники посоветовали одеться понадежнее, и мы последовали их советам. На бумажные носки были надеты шерстяные, сверх них меховые пыжиковые чулки — чижи (шерстью внутрь). Обулись мы в плекеты — щетки, сшитые из сверкающего камуса — полос шкуры с оленьей ноги. Сверх полотняного белья каждый надел и шерстяное, а сверх конайт и куашки (меховой рубашки) еще и двойную кухлянку из пыжика с узорчатыми обводами анадырской работы. Из продуктов питания мы наибольшее внимание уделили сливочному маслу, восстановителю тепла в студеном пути.

— Тепло! — сказал Косин на прощанье. — Минус девятнадцать градусов! Самая погода для дороги! Под Верхоянском доберетесь до шестидесятиградусных морозов. Вспомните добрым словом наши советы по части одежонки.

На «Литке» сделали для нас железную печку. Ее погрузили на нарту Атыка позади грядки. Камбузники приготовили нам несколько тысяч пельменей. Их вынесли в мешках на мороз, и спустя час они превратились в камешки.

Пурга выбелила тундру свежей порошей. Утро вставало ясное и морозное. Солнечные лучи чуть-чуть освещали вершины гор. Уже несколько дней не видно было солнца и теперь надолго...

По вечерам Атык приносил ведро с нарубленным нерпичьим салом. Он кидал его собакам по очереди, сначала самым сильным и трудолюбивым, а затем урезанные порции — менее старательным. Атык не терпел уравниловки.

Собаки высоко подпрыгивали, жадно хватали налету куски сала и, не прожевывая, глотали проворно, чтобы успеть броситься за следующим куском. Некоторых собак каюр кликал по имени; вызывая их из стаи, он бросал им куски, целясь прямо в пасть. Голодные не соблюдали очереди. Тогда каюр кричал грозное «угууу!». Самые непослушные боялись этого окрика и мрачно отходили в сторону, поджимая хвосты. Чем меньше оставалось в ведре сала, тем спокойнее становились уже насытившиеся собаки.

Итак, близились часы расставанья...



# Тагам! Поехали!



Выстрел! Другой! Третий!

Стреляют часто. Это — обычай северных проводов.

Едва рванулась передовая упряжка, как завyli собаки других нарт. И вот вперед по белому простору берега мчится весь наш караван.

Солнца не видно, можно только с вершины сопки, сверкающей розовыми солнечными бликами, разглядеть, так низко над горизонтом чертит свой короткий путь желтый шар, на который теперь можно смотреть невооруженным глазом.

Начало ноября. Близка полярная ночь.

У берега Чаунской губы, где сутулится единственный домик, принадлежащий фактории Певек, и дымят кострами несколько чукотских яранг, в ледяных торосах попрежнему стоят зимующие пароходы.

Моряки выстрелами прощаются с уезжающими. Я вижу коренастого крепыша — штурмана Козловского. Он неистово машет шапкой-ушанкой. В правой руке у него дымящийся наган. Матрос Конев стреляет из винтовки...

Впереди — неведомый путь к Колыме через Восточную каменную тундру, через горы, еще не нанесенные на карты, через неизвестные реки, по безбрежному снежному океану.

Тысячи километров надо пройти на собаках и оленях до железной дороги. Наш путь начинается у подножья Чаунских гор. А Москва так далеко...

Я еду вместе с Атыком на одной нарте, длинных легких деревянных санях, хитро скрепленных ремнями. Атык сидит впереди меня, он держится за дугу. Эта дуга — не только дополнительное крепление, но и своеобразный руль каюра. На полном ходу, заметив впереди опасность — камень, выбоину, плавник, он быстро соскакивает на снег, схватившись за дугу, отдергивает нарту в сторону.

Атык имеет еще и второе имя — Атыкай, так его зовут чукчи. Атыкай значит по-чукотски собачка. А собака — это первый помощник в хозяйстве берегового чукчи. Собака возит его ярангу и скарб, она приводит его к зверю, разыскивает лунку, через которую нерпа выходит из моря, чтобы подышать в полярную ночь. И при всем этом собака почти не требует от человека ухода. Она спит всю жизнь за ярангой в снегу. Чукча кормит своих ездовых раз в день, по вечерам. Кусок нерпы и сушеная рыба — юкола — сытный стол четвероногих. Так же как и человек, собака питается в тундре оленьей. Когда закончится короткий собачий век, чукча-хозяин сдерет с нее мохнатую шкуру и теплым мехом опушит свой малахай или кухлянку. Из собачины шьют и рукавицы; зовут их «собаками».



Атыку лет сорок пять, а может быть, и пятьдесят. У него густая и длинная черная шевелюра. Косичка неседующих волос постоянно выбивается из-под малахая, сшитого из выпоротка-оленья. Капор обшит пушистым мехом росوماхи. Под малахаем у Атыка двойная кухлянка, белая с черными подпалинами. Волчий серебристый воротник закрывает бронзовую шею Атыка, дубленую солнцем и ветрами, изрытую сетью морщин. Сильные ноги каюра обуты в белые плекеты, поверх которых выпущены еще более яркобелые штаны — конайты — из каму са — лапок оленей. Штаны закреплены ременными повязками у щиколотки, поверх обуви, что предохраняет от проникновения снега. Поверх тюка с грузом болтается волчья шапка Атыка. Он держит ее про запас и надевает только во время сильной пурги.

И на малахае, и на кухлянке у Атыка пришиты кусочки меха. Позднее я узнал их назначение. Чукчи в те годы еще верили в духов, населяющих тундру, горы, берег, море. Есть злые духи, они могут нанести чукче вред. Во время пурги погонится такой дух за каюром, достигнет его, схватит за малахай или кухлянку..., но каюр благополучно умчится от напасти, оставив в руках у духа только хвостик, нашитый на одежду для безопасности.



## **Собачья упряжка береговых (приморских) чукчей. Наверху чукча готовится к отъезду. Слева — склад, укрытый звериными шкурами**

### **(По рисунку чукотского костереза)**

Я спрашиваю Атыка об этих меховых хвостиках. Атык беззвучно смеется, его быстрые умные глаза искрятся. Обычай предков сильнее его сознания и, отправляясь в дальний трудный путь, он не решился изменить вековой традиции.

Атык курит медную трубку. Она согревает кончик носа; трубка выкурена, Атык выбивает ее о дугу нарты и бережно прячет в кисет. Кисет на груди Атыка, под кухлянкой. Потерять кисет и трубку в тундре так же

тяжело, как лишиться ездовой собаки. И Атык бережет и кiset и собак больше, чем самого себя. Он часто соскакивает с нарт, чтобы собакам стало легче. И собаки, чувствуя это, бегут веселей. Атыку жарко в кухлянке. Он снимает ее на бегу и остается в кукашке — меховой рубахе. Он бежит за нартами по несколько километров, потом, устав, с разбегу садится и заводит разговор с собаками.

— Тэдди, Тэдди, Тэдди! Угу-у-у! — окрикает Атык большого черного пса, вдруг ослабившего алык<sup>[1]</sup>. Черный Тэдди не работает, не тянет нарты. Почуввав, что его проделка разоблачена, он боязливо оглядывается на каюра, пригибая к земле голову.

— У-гу! У-гу! — страшит каюр собаку.

Тэдди плохо слушается, и тогда в руке Атыка появляется грозный остол<sup>[2]</sup>.

Остол выкрашен у Атыка в алык, хорошо заметный на снегу, цвет. На одном конце шеста железное острие, на другом — несколько колец. Атык ударяет остолом о дугу нарты, и кольца тревожно звенят. Собаки оглядываются, они отлично знают этот дребезжащий, предостерегающий звук. Сейчас будет расплата. Сейчас Атык бросит остол в провинившуюся собаку, в ту самую, которая вяло тянет алык и обманывает других. Атык не ошибется: из двенадцати рядом бегущих собак он отметит остолом именно ту, которая провинилась перед всей упряжкой. Побитая собака коротко взвизгнет и теперь наверняка туго натянет алык.

Атык не задержит бега упряжки, не остановит нарты, чтобы поднять остол, зарывшийся в снег. Атык успеет выхватить остол из-под самой нарты на полном ходу. Никогда не было, чтобы выронил он остол из своих цепких рук.

Я начинаю зябнуть и по совету Атыка бегу за нартами. Бег согревает. Живительное тепло растекается по застывшим ногам и рукам. Забываю о холоде, только дышится чаще и шумно стучит сердце.

Мы снова с Атыком на нартах.

— Мата-а-а-ууу! — ласково, напевно тянет каюр.

— Мата-а-а-ууу!

— Мультик! Мультик! Мультик!

Это он подбадривает собак, называя их по именам, будто разговаривая с ними.

Снежинки падают на мою камлейку, а ветер сметает их целыми пригоршнями. Становится холоднее. Атык вновь надел кухлянку. Красиво сидит она на нем.

Жена Атыка — лучшая рукодельница Певека. Лучше ее никто не умеет шить меховую одежду. Она сама оторачивала пыжиковую шапку и кухлянку мужа, шила ему конайты и плекеты.

---

<sup>1</sup> Алык — постромки нарты.

<sup>2</sup> Остол — длинный шест, с помощью которого каюр управляет упряжкой и тормозит нарты при спуске.

Самым красивым Атык считает мех росوماхи. Он мечтает вслух:

— Атык поехал Колыма! Атык возьми Колыма собак! Атык возьми нарты! Атык возьми росوماху и капкан!

В Нижне-Колымске Атык хочет купить новых собак, новые нарты, росوماху и капканы.

— Мури Певек меченьки неушка... парнишка...

Атык говорит, что у него в Певеке остались хорошая жена и хороший сын. Это для них Атык привезет с Колымы росомаший мех, чтобы оторочить одежду. Атык каждый день твердит мне об этом редком для него — жителя тундры — звере.

За грядкой нарты звонко постукивают в мешке пельмени. Я смотрю вперед — на широкие плечи Атыка, его белую спину. В белизне северной одежды есть какая-то праздничная торжественность. Недаром чукчи почитают белый мех, надевают его в особых случаях.

Каюр постоянно в движении, постоянно следит не только за собаками, за нартами, но и за мной, сидящим позади. Я должен сидеть, свесив ноги слева, каюр — справа по ходу нарты; тогда нарты уравновешены и устойчивы. Иначе они станут валкими, замучат и собак и каюра. Когда нарты клонятся влево, Атык валится всем телом круто вправо или соскакивает с нарт и отдергивает их за дугу на ровный снег. Он бежит вперевалку по-чукотски, легко вытаскивая свои сильные ноги из глубокого сыпучего снега.

Ветер невидимой метлой метет по тундре, срывает с нее снежную осыпь, зимний покров земли.

Сначала снег струится бесшумно, потом начинает звенеть стеклянным звоном. Эти струйки снега, бегущие по тундре, напоминают шумливые горные ручейки. Вот они набрали силу и с ревом устремились на нас. Снег по всей тундре, которую только видит глаз, бежит навстречу нартам.

Вскоре в снежном потоке я перестаю различать идущую впереди нарту. Каюры выводят собак за высокий мыс, горушка защищает нас от снежного шквала. Здесь пережидаем пургу.

— Это еще не пурга! Это — полпурги! — утешает нас Иван Мальков, каюр соседней нарты.

Каюры долго и оживленно переговариваются. Затем ставим палатку. Привязываем ее к тяжелым грузовым нартам, чтобы не сорвало шквалистым ветром.

В пурге не раскопать плавника. Поэтому спим в нетопленной палатке, в спальнях мешках — кукулях. Собаки свернулись клубками возле нарт. Их заметает снегом, только морды чернеют из сугроба.

Всю ночь ревет, не унимаясь, ветер, метет снег по тундре. Утром пурга затихла. Едва заметно ее прерывистое усталое дыхание. Ветер чуть пошевеливает снег. Каюры расталкивают сонных собак, и те лениво поднимаются, отряхиваются от снега и начинают вить, вначале в одиночку, а потом всем скопом, в восемьдесят глоток.

Атык не знает ни дней, ни лет, ни часов, ни расстояния. Родился он в месяц сбрасывания оленьих рогов — в августе. Родился в тот год, когда тушу большого кита выбросило на чукотский берег и в стойбище было большое пиршество. Расстояния он измеряет по-колымски: качеством собак. Чем лучше собаки, тем короче расстояние, меньше требуется времени, чтобы доехать до цели. Чем хуже собаки, тем длиннее версты и больше нужно времени на поездку. Вот почему на Колыме «длинные» и «короткие» версты.

Когда позволяет погода, я достаю блокнот и вношу в него торопливые карандашные записи. Атык с тревожным любопытством приглядывается ко мне. Ему не нравится мое занятие. При малом запасе чукотских слов я вначале никак не мог объяснить каюру мои, непонятные для него, записи. С самого начала пути он приветливо звал меня «Тынлилят» (стеклянные глаза). Это за то, что я в очках. Но потом приветливость его стала заметно исчезать. Мои расспросы плохо действовали на каюру. Я расспрашивал, как живется ему, сколько у него одежды, собак, какая утварь, есть ли олени в тундре? Атык, видимо, понял это как опись его домашнего имущества и заподозрил недоброе.

— Зачем бумагу пишешь? — наконец, сердито спросил меня Атык, косясь на блокнот.

— Книгу пишу, большую бумагу, Атык! — ответил я. — В Москве все смогут прочесть об Атыке, узнать, какой он большой человек.

Атык слышал от Рольтынвата, что такое книга. На мысу, где стояла яранга старого каюры и откуда мы ушли в долгий путь, друг Атыка и наш юный спутник, комсомолец, каюр хвостовой нарты Рольтынват учился грамоте у советского учителя-комсомольца. Природная сметка помогла Атыку понять, что такое книга и какова ее огромная сила. Он сказал мне, что чукчи пока книг не пишут, но знают множество рассказов и сказок, которые надо написать в «большой бумаге».

— Товарищ Сталин нас научит, будут чукчи и книги писать, — сказал комсомолец Рольтынват, узнав о нашем разговоре.

С помощью Рольтынвата я дотолковался, наконец, с Атыком. И тогда я решил посоветоваться с ним о названии своей будущей работы. Я сказал ему, что каждая книга, — как и человек, собака, селение, гора, река или море, — должна иметь свое имя. Как назвать мне труд, в котором будет описан наш путь по зимней тундре?

Атык подумал, блеснул черными, как угольки, глазами и крикнул призывно — воинственно:

— Тагам!

Тагам! Вперед! Поехали!

Я повторил за каюром найденное им слово, так подходившее к тому, что я увидел на Севере, идя с кораблями к устью Колымы. Вся тундра и люди, работавшие на краю света в те памятные годы первой сталинской пятилетки, устремились в едином порыве вперед — к новой жизни, к социализму.



...Снова в путь. Отдохнувшие собаки тянут хорошо, несмотря на податливый снег. Кругом свежие отпечатки звериных лап. Немногими русскими словами, каюр рассказывает мне о том, кто бежал здесь недавно по снегу.

— Заяц! Заяц! — повторяет Атык.

И чтобы я лучше понял его, он поднимает руку, выставив вверх два пальца и сложив большой с указательным так же, как делают дети, когда хотят изобразить на стене тень зайца.

Вот на снегу пунктир. Атык кричит собакам:

— Подь-подь!

Собаки по команде резко берут вправо и несутся туда, где глазастый Атык увидел след лемминга — мелкого грызуна. Передовой Эспикр ударил его лапой и проглотил в одно мгновение.

— Кухх-кухх! — гонит каюр собак влево, возвращая их на дорогу, проложенную передними нартами.

— Собака кушать хорошо! Хорошо! — и он показывает мне руками, что собаки любят есть грызунов. Вот почему Атык свернул с дороги. Он позабавил своего передового, любимца Эспикра.

— Эспикр собака хорошо! — говорит Атык.

Перед нами горы. Что скрывают они в своих неразведанных недрах? Однажды уже прошел здесь самолет геолога Сергея Обручева. Он первый облетел Чукотские горы, привлек авиацию для съемки и геологических работ, раскрыл многие тайны здешних мест, да и не только здешних. Ведь это Сергей Обручев открыл хребет Черского, высокий горный кряж, до того отсутствовавший на картах мира...

Чукча Тено показал как-то Василию Косину камень, найденный на горе Проркана, против бухты Нольде. Говорят, что в горах много таких камней. Женщины хотели сделать из него нож для обдирки оленьих шкур. Но когда разбили камень, то внутри его оказался неизвестный металл.

Мне вспомнился рассказ Косина о первой его поездке в глубину Чаунской тундры. Ехал он в январе, в полярную ночь. В небольшое стойбище Умыгина собрались делегаты для выборов первого «тузсовета» (туземный совет). Неожиданно Косин узнал, что по тундре ходит слух, будто из Анадыря идут японцы убивать русских. Косин спросил Умыгина — хозяина стойбища: кто пустил этот провокационный слух? Умыгин помолчал, подумал, а потом вдруг ответил, что слух пустили кулак Омруля и шаман Кокак.

— Они говорят, — признался Умыгин, — что у русских ум совсем другой, чем у нас. Русские думают по-своему: бедных начальниками делают, а у бедного ничего нет! Какой же он начальник, когда у богатого всю жизнь работает?

Косин остался организовывать Совет. Богатые оленеводы стояли за то, чтобы в Совет проводить только богатых. Затем они внесли новое предложение: «Пусть двух бедных да одного богатого, — тогда будет как раз». Но богатых в Совет не ввели. Избрали бедных.

...Ветер за ночь испортил снежную дорогу, и собаки едва бредут. Путь наш лежит на юго-запад.

Каюры часто покрикивают на собак. Те бредут по брюхо в снегу, подняв высоко кольцообразные хвосты и туго натягивая алыки и потяги. Кажется, если ударить по потягу, он зазвенит, как струна. И все же нарты очень медленно ползут по непроторенной дороге.

Как велик наш Советский Союз! Сейчас повсюду на советской земле готовятся к 15-й Октябрьской годовщине. В городах и селах улицы украшаются флагами, лозунгами, портретами товарища Сталина и его ближайших соратников. Над Москвой, наверное, тренируются летчики — участники авиационного праздника Седьмого ноября.

Большой праздник впервые будет и в Чаунской губе. Оленине чукчи едут сейчас к месту зимовки пароходов. Там будет неслыханное торжество. Моряки готовят доклады, большое шествие со знаменами и фейерверк...

Хорошо было бы и нам скорее добраться до устья реки Чаун, где стоит одинокая фактория! Там мы могли бы обогреться, отдохнуть и провести великий праздник в доме, не под открытым небом.

Незаметными точками кажутся наши нарты, движущиеся по безлюдной чаунской тундре. Мы затерялись в ее просторах. Каюры часто останавливаются и перекликаются. Они выверяют направление. Самый надежный совет дает всегда Атык. Его внимательно слушают. Он махнет рукой — и, как по компасу, вновь идут вперед нарты — корабли тундры.

За нашей нартой едет Рольтынват. С тех пор как он узнал, что я собираюсь писать книгу, дружба наша возросла. На первой же дневке он подошел ко мне и сказал:

— Пиши! Мы учим в Певеке большую книгу о Ленине. Учитель учит нас. Чукчи знают — Ленин был сильный богатырь. Враги стреляли в него, а он стоял, как скала, вынимал пули и бросал их на землю...

Так, по-своему, понимал юный комсомолец Рольтынват, сын чукотского народа, богатырское дело Ленина. Он ждал от меня подтверждения этой легенды, рожденной на советской Чукотке. И я подтвердил ее.

Мы дневали у костра, разожженного из деревянного ящика, прихваченного заботливым Атыком. Горячий чай, пахнущий дымом, обжигал язык. Глотали кусочки мороженого и твердого, как лед, масла.

Атык торопил каюров.

— Тагам! Тагам! Акальпе!

— Поехали! Поехали! Скорее!

Он любил движение.

Это ему по душе.

Рольтынват, для которого слово Атыка — закон, первым стал расталкивать своих собак. Те лениво вставали, отряхивались, потягивались, выставляя далеко передние лапы.

Не спешил только один Коровья. Он все сидел у костра. У него волчий аппетит и неслыханная жажда.

Придвинув босые ноги к самому костру, Коровья не спеша сушил свои чижы и плекеты. Он будто и не слышал призывов Атыка. В руках Коровьи я вижу эмалированную кружку. Пока чайник не будет пуст, Коровью не отогнать от костра.

И Атык не спорит, он знает, что спор бесполезен. Вывернув свой малахай и рукавицы, Атык тоже просушивает их у огня. Вслед за каюрами я повторяю все их движения. Как приятно потом надеть теплые рукавицы, теплый малахай.

Ящик быстро прогорел. Пеплом покрылись угольки. Заторопился и Коровья.

Теперь все каюры готовы в путь. Нарты выстроились в колонну. С передней Атык кричит на весь караван:

— Тагам!

Поехали!

Слышится скрип полозьев. Дорога тверда. Атык доволен и что-то мурлычет себе под нос.

Он ласково окликает своих собак, подбадривает их. Впереди еще долгий, долгий путь.



# Настоящие люди



Мы движемся вдоль морского берега. Каюры петляют по тундре, как песцы в поисках пищи. Иногда выезжаем на морской лед.

Вдали, на горизонте, дымит пурга. Кажется, будто к нам приближается огромное стадо оленей. Атык оборачивается ко мне, показывает на эту мутную дымку своим алым остолом.

— Надо чай работать! Чай-пауркен! Хорошо! Кит-кит камит во хорошо! Русский яранг — хорошо!

Атык советует остановиться, поставить палатку (русскую ярангу), сварить чаю и «кит-кит» (немного) покушать.

Останавливаемся. Морской горизонт весь в изломах льдов. Последних нарт, немного отставших от каравана, не видно. Но ветер доносит звон бубенцов, посвисты, крики и чукотский разговор. Наконец, подъехали и собрались все нарты. Начинается «чай-работа».

Ничто, пожалуй, так не согревает в тундре, как горячий чай. Этот напиток давно стал в тундре предметом первой необходимости, вошел в быт чукчей.

За чаепитием завязывается оживленный разговор. Мои спутники рассказывают о проделках шаманов и американских контрабандистов. И те, и другие, видимо, не мало насолили чукчам. Ненякай, каюр головной нарты, говорящий по-русски, показал свой винчестер. Он с земли Индлюнга (Америки). Их раньше привозили американцы — много-много. Патронов давали мало-мало. На следующий год привозили другие патроны и другие ружья. Каждый год мы покупали новые ружья, а старые вешали на стенку.

Подтверждая рассказ Ненякая, Мальков говорит, что точно так же американцы «торговали» и керосиновыми лампами. Каждый год они привозили на Колыму стекла и фитили новых размеров...

Мне вспомнилось, что наглость англо-саксов, пробиравшихся на наш северо-восток, имеет свою весьма длительную историю. Об одном из иноземных проходимцев писал еще в своей книге флота капитан Сарычев. Эта книга была со мной в походе.

«В сие время, — прочел я в ней, — находился в Якутске чрезвычайный по своему предприятию путешественник, Англичанин Ледеард, знакомой г. Биллингсу потому, что с ним вместе был в последнем путешествии Капитана Кука, в звании Капрала; но после, как сказывают, служил Полковником в армии соединенных Американских областей. Намерение его было обойти пешком вокруг света, почему и приехал в Петербург, чтобы в России начать свое странствование и дошедши до



Восточных границ Азии, сыскать случай на каком-нибудь судне переправиться к Английским селениям. Сколь безрассудно было его предприятие, доказывается первое тем, что без доверенностей и без денег пустился он путешествовать через просвещенное Государство, и хотя в холодном платье проходить пешком такие страны, где мы с нуждою проезжаем на лошадях, будучи тепло одеты. Второе: где-б сыскал он такое судно, которое бы доставило его по желанию в то место, куда ему надобно? Третье: положим, что Ледеард мог бы найти благосклонность у диких американцев; но известно, что жители в тех местах находятся только близ моря: как же стал бы он путешествовать через горы и необитаемые места? Доброхотство Россиян избавило его труда идти через Россию пешком: попутчики без всякой платы довели до Якутска; и здесь обласкан был он всеми. Комендант пригласил его к себе в дом, где имел готовый стол, и как уже наступила стужа, то велел ему сшить теплое платье. Из сего видеть можно, сколько Ледеард был одолжен Россиянами, и мог ли надеяться подобного гостеприимства в другом каком Государстве? Что ж? За все то отплатил он неблагодарностию; стал говорить обо всех худо и обходиться дерзко; наконец, за напоминание ему о благопристойности, осмелился вызывать Коменданта на поединок. Г. Биллингс, отправлявшийся тогда в Иркутск, предупреждая дальнейшие могущие произойти из того следствия, взял его с собой; между тем Комендант писал к Генерал-Губернатору и жаловался на сего дерзкого Англичанина; в следствие чего, по прибытии в Иркутск, отправлен он в Петербург, как беспокойный человек».

Это было в 1787 году. Но полтора века мало изменили характер англо-американских путешественников. Вернувшись восвояси после поездок по нашей стране, они нередко клеветают на нее и ныне...

Были и совсем откровенные по своим целям «путешествия» американцев к нашим северо-восточным землям. Хорошо известна история шхуны «Карлук» под командой капитана Бартлета. Она была унесена льдами на север и раздавлена близ острова Геральда, Часть экипажа нашла спасение на острове Врангеля. Затем Бартлет с эскимосом Катактовиком ушли по льду на Чукотку. На острове остались американцы во главе со старшим механиком Мёнро. Оставшихся в живых незадачливых путешественников спасла промысловая шхуна «Кинг и Уиндж» из Сياتля. Казалось бы, англо-саксы могли удовлетвориться тем, что часть их людей осталась живыми, поблагодарить землю, их приютившую, и убраться вон. Но не тут-то было. Небезызвестный Вильялмур Стефанссон решил незаконно обосноваться на русском острове. 15 сентября 1921 года на острове Врангеля была высажена новая партия колонистов во главе с Алланом Крауфордом. Перед тем охотники до чужого добра объявили, что остров Врангеля является... «полным владением короля Георга» и присоединяется к Канаде.

Рассчитывая на «гостеприимство» Арктики, Стефанссон предполагал, что американцы просуществуют на острове за счет местных ресурсов, охотой на морского зверя. Колонисты были снабжены продовольствием всего на полгода. Конечно, Стефанссон жестоко ошибся в своем расчете. Оставшиеся на острове американцы не сумели себя прокормить до прихода судна. Крауфорд и часть американцев покинули остров и погибли, пытаясь

добраться по льдам до материка. Когда в 1923 году Стефанссон вновь подошел к острову, он застал в живых одну лишь эскимоску — стряпуху отряда.



## **Медведь из-за торосов нападает на нерп, резвящихся в полынье**

### **(По рисунку уэленского костереза)**

Однако столь печальные последствия этой авантюры не остановили американцев от повторных незаконных попыток захвата острова. В том же 1923 году на острове Врангеля была высажена новая партия интервентов под начальством Уэльса.

Для прекращения этих дерзких беззаконий Советское Правительство направило к острову в 1924 году ледокол «Красный Октябрь» под командованием гидрографа Б. В. Давыдова. Несмотря на тяжелые ледовые условия, корабль пробился к цели. Непрошенных гостей сняли с острова и вывезли во Владивосток. На острове был поднят советский флаг...

...Наши нарты выехали на лед и снова пробирались между торосами. Теперь мы ехали уже по западной стороне Чаунской губы.

Далеко в море ухнуло. Очевидно, разломило большое ледяное поле, попавшее в сжатие. Чукчи насторожились, стали прислушиваться к отдаленному гулу.

— Котятка ухает, — уверенно сказал каюр грузовой нарты Рамнуун.

Когда на очередном привале мы уселись вокруг большого костра (благо кругом было много плавника), в море снова застонало.

— Котятка кричит, — вновь сказал Рамнуун, и никто из каюров не пытался разуверить его.

Все повернулись к говорившему. Я впервые слышал это слово. (Позднее я нашел его у Тана-Богораза, но только таинственный зверочеловек назван им иначе — «кочатка».)

— Уууу — слышишь? Кричит, как человек! Однако должно быть кушать просит... Вот мы к Дежневу о Прошлый год подъезжали, слышим тоже кричит в море человек. А старики говорят: это не человек, это котятка ухает. Сей год чукчи тоже слыхали котятку у Рыркарпия.

— А какая она из себя? — спросил я каюра.

— Худая-худая, страсть какая худая, но может съесть человека.

— А большой зверь-то? — допытывался я.

— Однако с медведя будет или больше. Ноги черные, а сама белая, шерсть медвежья, голова длинная, острая, медвежья, а кто говорит и человечья...

— А ты сам видел ее? — допрашивал я каюра.

Послышался смехок Рольтынвата, он понял цель моих вопросов.

— Я-то не видел, но слышать слышал, как она кричит, — ответил Рамнуун. — Как человек кричит, ухает: уууу... По морю страстно кричит. О прошлый год у Айона-острова закричала котятка, а летом в том же месте трое чукчей утонуло. Пошли промыслять нерпу, подул сильный ветер, поднялась волна, байдару и захлестнуло однако. От котятки погибли чукчи...

— Однако опять южак подул, — перевел на другую тему разговор старый чукча, потягивая из самодельной трубки едкий дым. — Южак тутoka до той поры жилится, пока ветер с моря его не прогонит начисто.

— А кто говорил тебе, что котятка кричит? — вмешался в разговор Рольтынват, решив, видимо, довести дело до конца.

— Акко с Рыркарпия.

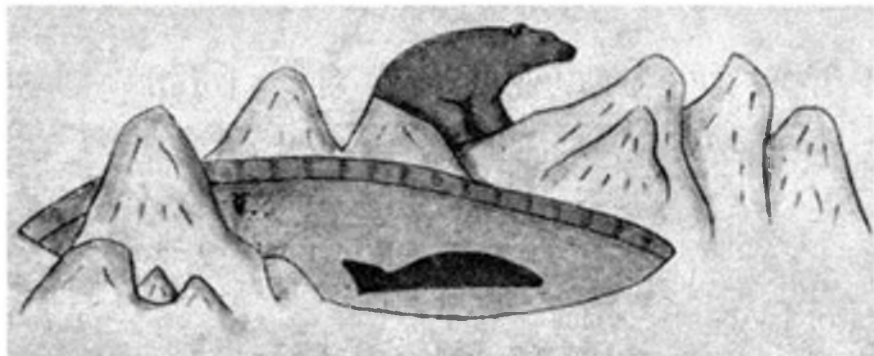
— Акко твой — шаман и кулак! Зачем ты ему веришь, Рамнуун? Он нарочно пугает тебя, чтобы ты боялся его.

— А чего мне бояться Акко? — обиделся Рамнуун. — Акко мне не враг. Он добрый человек. Когда я гостил у него на Рыркарпии, он водку давал мне... Я у него трое суток прожил.

Рамнуун любил рассказывать о разных чудесах. При этом, несмотря на мороз, он снимал свой малахай и волчьи рукавицы, будто они мешали его рассказу.

Волосы, черные как смоль, копной покрывали голову Рамнууна. Мороз вмиг охватил его потную голову, она заиндевела и стала совершенно седой.

— Трудно со стариками спорить, — сказал Рольтынват, улыбаясь мне, и махнул рукой.



# Медведь за торосами караулит нерпу в полынье

## (По рисунку уэленского костереза)

Каюры начали собираться в дорогу. Тогда молчавший все время Ненякай заговорил громко:

— Я знаю этого шамана. Его хитрость нам известна. Он потушит жирник. В пологе станет темно. Он скажет: «Не бойтесь! Вам плохо не будет!» И начнет шаманить. Вы услышите вой ветра в тундре. Услышите, как вода начнет бить в стены полога. Услышите шум прибора. Услышите за ярангой крик моржа. Шаман выйдет из полога и приведет моржа и скажет: «Стрелите сами!» Вы стрелите зверя. Увидите его кровь, услышите запах его мяса. Большие куски бросите вы своим собакам. Но собаки вас до места не довезут. И напрасно отдадите шаману за это подарок. Шаман пустое место обратит в моржа и пустым местом будете кормить собак. Жирные куски поедят ваши собаки. Большие раздуются у них животы. Вы это увидите своими глазами, но все будет по-пустому.

Я понял, что шаман Акко владеет искусством гипноза, и стал объяснять это каюрам. Каюры внимательно смотрели на меня, сосредоточенно кивали головами, но явно не понимали моих слов.

Нарты тронулись, и караван вытянулся длинным кильватером по тундре, как корабли в море.

Атык смастерил флажок из кумача, укрепил его на дуге своей нарты. Ветер трепал флажок, Атык радовался и говорил мне:

— Скоро большой праздник.

Несколько раз мы снова выезжали на востороженный морской лед. Я смотрел на компас, чукчи смеялись надо мной. Они считали компас игрушкой и находили направление без него.

Рольтынват не оставил Рамнууна в покое. На стоянке он подошел к нему, предложил табак и спросил;

— А сколько ты песцов отдал Акко за спирт?

— Зачем ему песцы, когда у него свои пасти и капканы по всему берегу расставлены?

— Не хитри, Рамнуун! Не хитри! — не отставал Рольтынват. — Скажи правду: обманул тебя Акко с Рыркарпия?

Рамнуун закурил табак и отвернулся, давая этим понять, что не желает продолжать разговор. Затем он отошел к своей нарте и стал наново увязывать ее, словно в этом была какая-нибудь необходимость. Рольтынват занялся своей нартой. Затем, будто вспомнив о чем-то, опять подошел к Рамнууну и сказал:

— Прошло время шаманам и американцам обманывать чукчей! Товарищ Сталин не позволяет! Настоящие люди приехали к нам с Большой земли, открыли глаза на правду! Настоящие люди — большевики.



Южный ветер принес пургу. Вторые сутки ветер шевелил снежок по тундре.

Мы спали в кукулях. Спальные мешки снаружи обледенели, их, как стеклом, покрывала тонкая ледяная корка.

Рамнуун беспокоился, как бы не пришлось нам из-за пурги здесь застрять надолго. Где тогда набрать корм для собак?...

Но Атык не унывал. Я вообще не видел его унывающим. Он работал всегда с улыбкой. Атык и собак наказывал редко и совершенно беззлобно, как бы выполняя необходимую обязанность.

Пурга оказалась скоротечной. Мы движемся вперед.

Рольтынват, самый молодой из каюров, мечтает вслух, поет о том, как вернется с Колымы в Певек, купит себе палатку, справит маленький полог и тогда съездит в тундру за хорошей неушкой<sup>[3]</sup>. Он поедет за невестой, как в чукотской сказке, непременно на волках, не на собаках.

У Рольтынвата черные, быстрые глаза. Он очень смугл, худощав и еще совсем мальчик. Но он один на один выходил против белого медведя, отлично управляет байдаркой, метко стреляет из ружья.

Нарты остановились. Начинается «войданье». Каюры запрокидывают нарты вверх полозьями. Атык отрезает ножом кусок оленьей шкуры, покрывающей его нарту. Из-под кухлянки извлечена спрятанная на груди фляга с водой. Атык держит флягу на груди, чтобы вода, необходимая для войданья, не замерзла. Смочив оленью шерсть водой из фляги, он, словно полировщик-краснодеревец, пробегает смоченным куском меха по полозине. Дерево сразу стеклянеет, покрывается тонким покровом льда, будто сверкающим лаком. Затем Атык проводит еще много раз мокрой шерстью по полозине, наращивая ледяную поверхность. Это все равно, что смазывать лыжи специальной мазью. Нарты после войданья хорошо катятся по снегу. К полозьям не прилипает снег. И собакам легче тянуть нарты.

Пока каюры, опрокинув нарты, морозят воду на полозьях, собаки, наглотавшись снега, проворно свернулись в клубки и спят, уткнув морды в собственные теплые шубы.

В упряжке Атыка три-четыре настоящих лайки. Их он особенно ценит. У лаек крупные, выпуклоблые головы, морды остро срезаны, уши стоячие, хвосты длинные и обычно скрученные в кольцо. Лайки покрыты густой, длинной шерстью, они не боятся мороза, всю жизнь проводят за ярангой, на воле, спят на снегу. Вокруг шеи у лаек пышные воротники, напоминающие горжетку, а ноги в пушистых очесах.

Северные собаки — лайки, делятся на ряд разновидностей. Известны лайки: зырянские, карельские, вогульские, остяцкие, ненецкие, колымские, чукотские, камчатские... Друг от друга их легко можно отличить по цвету и длине псовины, по росту и сложению. Однако все они имеют много сходства. У всех лаек голова зверовидная, уши стоячие, острокопечные. Ноги поставлены прямо, лапа — «в комке», хвост серповидный или, чаще,

---

<sup>3</sup> Женщиной.



кольцеобразный, но иногда встречаются лайки с хвостом, держащимся по-волчьи — «поленом».

Преимущественный цвет псовины серый (волчий), белый и черный. Окраски других цветов говорят о непородистости собаки.

Лайки отличаются верхним, дальним и острым чутьем, энергичным на быстром галопе ходом, злобностью и умелой хваткой зверя, сильным и звучным голосом, а также послушанием. Они позывисты и не теряют связи с охотником, ездовые же собаки хорошо «гаркаются», то-есть точно выполняют команды каюра. Рост лайки несколько выше полуметра.

По древним верованиям чукчей, новопришелец в царство мертвых должен пройти через особый собачий мир. Кто плохо обращался на земле с собаками, того в подземном собачьем мире собаки жестоко преследуют. Быть может, поэтому мой Атык столь милостив к своим ездовым и очень редко их наказывает остолом за непослушание. Однако Рольтынват придерживается совершенно противоположного правила. И часто слышатся повизгивания его ездовых, которых он нещадно дубасит звенящим остолом. Атык называет свою курительную трубку «товарищем скуки». Он называет также «товарищами скуки» и своих ездовых собак...

На Севере наилучшими ездовыми заслуженно считаются колымские лайки. Они крепки, выносливы и нетребовательны.

Атык управляет собаками удивительно спокойно, редко повышает голос, во время езды ласково разговаривает с ними или мурлычет себе что-то под нос, словно подпекает.

Но не все каюры так спокойны. Часто в караване слышатся и шум, и крики. Очень нервничает юный Рольтынват. Его раздражает медленный бег нарт, особенно донимает концевая собака в упряжке. Когда его нарты сильно отстают от каравана, — беда! Поубавит вспыльчивый каюр шерсти у ленивой.

...Ни одного встречного в пути. Снег да снег. Ветер да ветер. Там, где особенно крепко поработал свирепый ветер, лежат голые черновины, по-местному их называют выдувками.

Пурга перемела тундру, испортила путь. Собаки-бедняги едва бредут по глубокому снегу.

Вдали отчетливо белеют снеговые остроконечные головы высоких гор. Их вершины залиты лучами невидимого нам солнца. Кажется, что горы сплошь выложены из снега, так они ослепительно белы.

Мальков взял слишком влево. Мы кружим, уклонившись от прямого пути. Об этом толкует Атык. Он достает из-под сиденья небольшой мешок, такой же пестрый, как и камлейка каюра (здесь любят цветастые материи), и угощает меня вареным, растолченным и замороженным мясом. Эти темные волокна пахнут дымом, но кажутся мне необычайно вкусными. Я ловлю себя на том, что мне полюбился дым. Очевидно потому, что там, где дым, там тепло и отдых.

Даже Атык порой сбрасывает свои рукавицы и, потирая ладони, говорит: — Холод, да холод!

Убежден, что он так говорит больше из сочувствия ко мне. Не так уже холодно Атыку, да и мороз чуть более двадцати градусов. И переносится холод в тундре значительно легче, чем в Москве, хотя бы потому, что одеты мы по-полярному — тепло, легко и удобно.

Нарты прыгают по застругам, как бричка по булыжнику. Ветер гребнем расчесал снежную гриву тундры, прибил и уплотнил снег, сделал его твердым, подобно асфальтовой мостовой.

Я потираю камусной рукавицей щеки и кончик носа: нет, конечно, не жарко! Следует побережиться на всякий случай от обморожения. Приходится непрерывно следить за собой.

Вдруг собаки перешли на бешеный галоп. Трудно усидеть на нартах. Крепко держусь за Атыка обеими руками, чтобы не вылететь на подскоке. Что случилось? Куда несутся нарты? А, вот в чем дело: впереди видна изба, напоминающая огромный ящик. Изба без двускатной крыши, без обычных окон. Вместо окна — небольшая прорезь, и в ней льдина. Вот отчего понесли собаки, — они увидели жилье. Там, где жилье, там пища и отдых.

Перед нами чаунская фактория. Она стоит у самого устья реки Чаун. Здесь кооператив чаунского райисполкома. Оленеводы приходят сюда для сдачи пушнины и покупают здесь чай, табак, сахар, мануфактуру...

Атык не торопится в избу. Его первая забота не о себе, — о собаках. За целый день они ничего, кроме снега, не ели. Утоляя жажду, они хватили снег не только на каждой остановке, но даже на полном ходу ухитрились копнуть снег заостренной мордой. Теперь они должны отдохнуть, а затем подкрепиться оленьиной.

Мы входим в просторную избу. Здесь не очень тепло, но чисто и уютно. Незатейлива самодельная мебель.

Видно, что сам хозяин любовно делал ее. Топчаны вместо кроватей. На стене портреты Ленина и Сталина. Несколько книжек на подоконнике. Они затрепаны, превратились в лоскутья. Хозяйка — небольшого роста, сухощавая женщина — смуглокожа и напоминает своей внешностью цыганку. Ее движения ловки и быстры. Она не скрывает своего удивления, увидев сразу столько гостей, но ничуть не смущена нашим приездом. Вмиг на столе появляется посуда, вилки и ножи. От печки несет вкусным ароматом вареного оленьего мяса. Вместо воды в большом чугуне мелко нарубленный пресный лед.

Каждому в этой избе находится место. Жена заведующего чаунской факторией — единственная обительница Чауна — Соня рассказывает нам, что муж ее уехал в Певек за грузом. Мы не встретились с ним, кружа по тундре.

Поданы на стол «пупки» гольца, серебрищиеся на тарелке высокой горкой, — это брюшки очень вкусной рыбы из рода лососей.

Хозяйка осведомлена обо всем, что делается в Певеке. — Откуда же? — удивляемся мы. — Торбазное радио! — отвечает Соня: — Вести, принесенные сапогами, — шутиливо поясняет она.

Надо признать, «торбазное радио» разносит вести по тундре с исключительной быстротой от избы к избе, от яранги к яранге на десятки и даже сотни километров.

Четвертый день мы идем по тундре, но до Чауна уже дошла весть о нашем большом морском походе и о других событиях, происшедших на зимовке кораблей уже после нашего отъезда.

То, что рассказала женщина напоследок, взволновало каждого из нас... Пароход «Урицкий» зазимовал в открытом море в стороне от каравана, километрах в сорока от Чаунской губы. Весной неизбежные подвижки льдов и сжатия могли повредить «Урицкий». Командование экспедиции решило на всякий случай создать на побережье несколько продовольственных баз в тех местах, куда могли выйти, покинув судно, моряки.

Над базами установили приметные красные флаги.

Чукче Памьяту, возле яранги которого расположилась одна из продовольственных баз, было сказано, что в море дрейфует пароход и что продовольствие в ящиках приготовлено на всякий несчастный случай с экипажем. Брать это продовольствие ни в коем случае нельзя. Укунаут, жена Памьята, тоже слышала разговор мужчин. Она поняла, что от сохранности этих грузов может зависеть жизнь тридцати двух человек.

Прощавшись с чукчами, моряки собирались ехать обратно в Певек. Памьят и Укунаут обещали смотреть за грузом и бережно хранить его. Услышав, что у Певека зимует много кораблей, Памьят запросился ехать вместе с моряками.

— Зачем тебе, Памьят? — спросил один из них.

— Почаюю, погостюю, — ответил чукча.

Упряжка Памьята ушла вместе с моряками к Певеку. Чукча обещал вскоре вернуться домой. Но прошла неделя, началась другая, Памьят не возвращался. Укунаут забеспокоилась. Ей приходило в голову, что Памьят провалился с нартами в расселину между льдинами или попал в лапы голодного ошкуя. К тому же, беспечный Памьят уехал гостевать на Певек, оставив семье моржового мяса всего лишь на три дня. Мясо пришло к концу. Укунаут варила оленье шкуры, очищая их от шерсти «острым охотничьим ножом». А Памьят в это время ходил в Певеке с парохода на пароход, гостил у моряков, слушал патефонные пластинки, смотрел кинокартины, неизменно восклицая свое «каккумэ!», и, затаив дыхание, следил за радиопередачей в кают-компани фламана ледокола.

В ту зиму морозы начались дружно. В яранге Укунаут вскоре иссяк нерпичий жир. Погас светильник-жирник, стало темно, холодно и голодно. Укунаут больше всего беспокоилась о детях. Ничего не оставалось другого, как бросить ярангу и итти на Певек.

Завернув детей в тряпье, остававшееся в яранге, Укунаут усадила их в легкие беговые нарты, привязала к задку, чтобы ребята не вывалились по дороге, и пошла пешком, таща за собой нарты, к Певеку, за сорок километров. Ночевала она на берегу моря, укрывшись от ветра за высокий торос. Дети тихонько плакали от холода и голода. Укунаут растирала им ручки и отогревала своим дыханием. Голод мучил и ее. Но силы не

покидали женщину. Ночью ей снился теплый полог, яркий жирник, большой дымящийся медный чайник и рядом любимый, но беспечный Памьят. Во сне она простила ему беспечность...

Проснувшись, она беспокойно зашпешила вперед. Ветер мел поземку и, шурша по тундряному берегу, поднимал невысокую пургу. Укунаут часто останавливалась, чтобы перевести дыхание. Она боялась, что пурга поднимется выше колен, тогда нехватит сил тащить нарты. В пургу и собаки ложатся...

Хотелось пить. Во рту пересохло. Язык прилипал к нёбу. Она мяла в руках снег и глотала его, чтобы облегчить томительную жажду. Дети тоже ели снег. Несколько раз Укунаут падала в изнеможении. Она поднималась, делала несколько шагов вперед и снова падала, но знала одно: надо итти вперед, туда, где русские. Там — спасение ее и детей. Русские не дадут умереть. И, преодолевая смертельную усталость, Укунаут снова шла вперед.

Ночью поземка улеглась. Взошла полная луна, осветившая берега бесконечно далеко. Один из вахтенных помощников вышел на мостик флагмана посмотреть, что делается на зимовке, и вдруг заметил на горизонте нарты. Они медленно приближались к кораблям по насту, высеребренному луной. Не оленями и не собаками были они запряжены, и не сразу понял моряк, что же он видит. А когда разглядел, то приказал вахтенному матросу быстрее пойти навстречу нартам.

Укунаут выбрали возле нарт. На этот раз силы совсем оставили ее. Матрос уложил женщину вместе с детьми на нарты и потащил вперед, к кораблям. Два дня врач лечил Укунаут и ее детей. У младшего ребенка оказался обмороженный на ноге мизинец. Его пришлось ампутировать. Памьят целые дни проводил возле детей и жены, — совместно было перед людьми.

Три недели гостили чукчи у моряков. Провожая их в обратный путь, доктор спросил:

— Скажи, Укунаут, зачем голодала, зачем мучилась, пешком тащишься к Певеку, когда рядом с твоей ярангой сколько продовольствия?

— Каккумэ! Каккумэ! — удивилась женщина. — Как можно было брать те продукты! А если бы пароход раздавило льдом и русские вышли бы на берег, они голодом пропали?...

— Но ты же, Укунаут, сама могла пропасть вместе с детьми? — спросил удивленный доктор.

— Однако могли голодом пропасть моряки, — стояла на своем недоумевавшая Укунаут. — И сами же русские сказали: брать продовольствие нельзя!

Женщина крикнула на своих собак и пошла за нартами. Рядом с ней шагал Памьят, держась за дугу нарт...

Рассказывая эту историю, жена заведующего чаунской факторией старалась скрыть от нас свое волнение. Мы были взволнованы не меньше ее.

Гостеприимной хозяйке я оставил письма, адресованные в Певек товарищам по зимовке. Козловскому я написал о том, что вест о подвиге

Укунаут пошла по тундре. Письмо заканчивалось словами: «Это, действительно, настоящие люди! Луораветланы!»

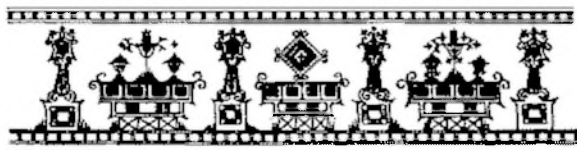
О своем письме я сказал Рольтынвату.

— Настоящие люди! Настоящие люди! — повторял он. — Настоящие люди — это Ленин и Сталин, а мы будем настоящими, когда научимся у них строить жизнь по-новому. Мы будем настоящими людьми!





# От жилья к жилью



Легкими прыжками, ставя след в след, бежит песец по белому полотну тундры.

Трудное время пришло теперь для ловкого зверька. Летом песец выглядел беднее, шубка его не была такой белой и пышной, грязный мех линял, но жил зверек сытно. С юга прилетали табуны гусей. Он ловил этих птиц. Нередко доставал и яйца из гусиных гнезд. Яйца нес осторожно в зубах, ни одно не кололось.

Штормы загоняли в бухты рыбу. Чайки весело выхватывали добычу из воды и разделявали ее где-нибудь на берегу, а мелких рыбешек глотали на лету. Песец подкарауливал чаек, притаившись за камнем. Он избегал только больших бургомистров и поморников. И еще боялся песец полярной совы. Завидя ее, он стремился скорее убраться подальше...

Узкой тропкой вновь побежали по снегу знакомые следы лемминга. Песец проследил весь пунктир лемминга до того самого места, где пурга перемела его следы. Песец прилег, покатался по снегу, почистил свою нарядную белую шубку и побежал дальше, время от времени останавливаясь и жадно потягивая воздух. Наконец, зверек почувствовал поживу. Теперь он больше не останавливался и бежал наверняка вперед, хотя кругом как будто ничего не было видно, кроме снега, закрывшего вчера, во время пурги, все зыбуны<sup>[4]</sup> и кочки.

Недавно песцу повезло. Он бегал к морю, уходил по льдам далеко от берега вслед за белым медведем, своим кормильцем, дожидаясь подачи с богатого стола. Медведь задрал нерпу, нежившуюся на льду, съел сало, а мясо бросил и заковылял дальше, чтобы выбрать место, где снег помягче да попушистее и можно свернуться в клубок и заснуть крепким сном. Песец осторожно подобрался к задранный нерпе. Он жадно наелся вкусного свежего мяса, вылизал кровь, которой был залит кругом снег.

Но это было несколько дней назад. С тех пор много пробежал песец, но кроме одной замерзшей рыбешки, случайно когда-то выброшенной волной на лед, он ничего не ел.

В тундре случилась гололедица. Лемминг остался жить под толстой коркой льда. Беда для песца! Не разломать нежными лапами ледяную корку, не достать лакомое блюдо.

И вот теперь (песец это ясно чувствовал) далеко впереди лежит без призора падаль. Ветер доносит одуряюще приятный аромат. Песец стремглав мчится

---

<sup>4</sup>Трясина, топкое место.

вперед. Его мало интересуют переливчатые цвета северного сияния, желтые и зеленые шелка, трепещущие по небу. Он знает сейчас только одно — падаль, запахи которой кажутся совсем близкими.

Что-то зачернело впереди на снегу. Песец из любопытства обошел кругом, осмелел, приблизился еще раз и... заковылял дальше. Это был кусок плавника — леса, принесенного издалека и заброшенного на берег осенним штормом.

Снова легкими прыжками мчится зверек вперед, откуда ветер с такой раздражающей ясностью доносит весть о пище.

Песец делает два круга. Он будто и не торопится. Природа выработала в нем осторожность. Он внимательно осматривает оленьё мясо, лежащее неподалеку. Песец смело идет к приманке — мясу и видит капли крови на снегу. Вот он уже совсем близко у цели. И возле мяса — бревно и в снегу колышки...

Едва только песец дотронулся до приманки, как на него обрушивается огромная тяжесть. Песцовая пасть — ловушка, поставленная на берегу нашим каюром Иваном Мальковым, прихлопнула добычу.



## Пасть — песцовая ловушка

Жена Малькова выедет на осмотр пастей, достанет замерзшего песца, снова зарядит пасть и погонит собак дальше, где стоят, выстроившись в ряд, другие мальковские ловушки.

— Мой отец и дед ставили здесь пасти, — говорит каюр, проезжая мимо своих ловушек, и в его словах чувствуется гордость, по крайней мере, потомственного музыканта...

Позади нас Чаун и хозяйка чаунской фактории. Спали мы в нетопленной пристройке на полу, в кукулях, где пол почернел от времени; ночь пролетела незаметно.

Утром каюры совещались, куда ехать, какого держаться направления. Решили ехать в Кременку, а от нее — «по чукчам», как советовал Иван Мальков.

— Если ехать сразу «по чукчам», — сказал Мальков, — то до них отсюда за день не доедешь.

Предположение Малькова поддержала и чаунская домоправительница. В Кременке обеспечен корм для собак, это — главное, и есть надежная печка, она не дымит, — так уверял Мальков. Железная печурка, взятая с парохода, оказалась негодной. Трубы ее узки, не дают тяги, и печка нещадно дымит.

Постоялица-пурга снова застила путь своими мохнатыми рукавами, она слепит собак, тянущих нарты против ветра.

Малькова не страшит пурга. Он в любую непогоду найдет Кременку. В Кременке он рубил с отцом избу, плавник для нее подвозили на собаках от морского берега. Потом до самой Кременки ставил пасти.

— Мы по пастям и поедем, как по вешкам, — обещал Мальков, идя передними нартами.

И все же нарты катятся плохо. Едва затихла пурга, каюры войдают нарты. Потом мы снова шуршим нартенным поездом по морскому льду.

— Тинь-тинь, — певуче тянет Атык.

Тинь-тинь — так по-чукотски называют лед.

Атык показывает остолом в ту далекую теперь сторону, где на восточном крае Чаунской губы синют в полумгле горы и стоят зимующие суда.

Скоро будет Кременка, дом Ивана Малькова, которого чукчи зовут Ванькой. Каюры смеются над нами, когда мы величаем Малькова Иваном Филатовичем. Они знают Малькова с детства, когда он был для всех Ванькой, и так будут звать его до самой смерти...

Сидя на нарте, Атык весело напевает, и я слышу одно только слово этой песни:

— Кременка! Кременка! Кременка!..

Он мечтает о Кременке и, обернувшись ко мне, говорит:

— Кременка хорошо! Корм собак есть! Камитва есть! Чай-пауркен хорошо и — спать!

В Кременке, Атык знает, есть корм для собак и людей, можно сварить чаю и выспаться.

Пятнадцатую годовщину Октября мы встретим под крышей в кремёнской избешке.

Собаки, почуя жилье, заметно прибавили скорость. Один из псов поскользнулся, упал, вся остальная упряжка протащила его метров двадцать по пушистому снегу до самой избы.

Дверь на запоре. Здесь не знают настоящих замков, а просто прикручивают проволокой пробой с наметкой, чтобы не škодили песцы. Мальков раскрутил проволоку и пригласил всех в избу. Она, повидимому, уже давно пустует.

Вместо одной свечи, по случаю праздника зажигаем сразу три, вместо чаю варим кофе. Не спится в эту праздничную ночь. Заходит разговор о Москве. Атык говорит, что это — такой большой город, что даже старики не знают там друг друга. Людей там так много, что дома стоят друг на друге,

яранга на яранге. Люди над Москвой летают, как птицы, и собираются ездить под землей. Об этом говорили моряки на зимовке...

В двух широких комнатах стоят печи. В углу — веник. Мы занялись приборкой и приготовлением пищи. Стены сухие, без следов плесени, но немного заиндевевшие. Над столом портреты Ленина и Сталина. Рамки заботливо обвиты ветками тальника. Вдоль стен длинные скамьи.

Печи ожили. Потрескивает охваченный огнем плавник. Кухлянки сняты и свалены в кучу. Мальков, как заботливый хозяин, развешивает их на веревках для просушки вместе с малахаями, торбазами и чижамы, вывернутыми наизнанку.

В Кременке нас догнал председатель островновского райисполкома Там-Там. Его настоящее имя Николай Рында. Но так в тундре его никто не зовет. Даже сам Там-Там не знает, откуда пошло его прозвище. Вся тундра и весь морской берег знает коренастого старика чукчу Там-Тама, хлопотливого и непоседливого человека, отлично владеющего русским языком. Он уже полгода в дороге! Почти шесть месяцев назад он выехал из Островного на Съезд Советов в окружной центр — Анадырь — и только сейчас возвращается обратно.

На Там-Таме яркая розовая камлейка, видимая издалека. По цвету камлейки чукчи узнают, что едет Там-Там. Камлейка надета сверх кукашки, меховой рубашки. Там-Там едет из Анадыря налегке, не захватив даже кухлянки. «Это еще не зима!», улыбаясь, поясняет Там-Там.

Каюры прислушиваются к его словам.

С самого начала пути я замечаю, что среди каюров есть еще один человек, с мнением которого очень считаются. Это — Коровья. Он — бывший шаман. В глазах его осталось что-то змеиное. Он говорит вкрадчиво, тихо, почти шепотком. У него двенадцать хорошо сработавшихся собак.

У Коровьи, как и у остальных, нарта сделана без единого гвоздя и скреплена ремнями. Но она настолько надежна, что каюр без опаски несется по косогорам и застругам. Он выше всех ростом, долговяз, худ, желтолиц. Его пыжиковая шапка не закрывает затылка и сзади, из-под малахая, видны черные густые волосы, видимо, никогда не знавшие мыла. Я вижу его постоянно в одной и той же полосатой камлейке, давно потерявшей свой первоначальный цвет. Камлейка надета сверх односторонней кухлянки, сшитой из пыжика. Кухлянка коротка и не доходит до колен.

Если Коровья захочет остановить весь нартенный поезд, он найдет для этого тысячу и одну причин. В любой момент он может остановить поезд для вайданья, варки чаю, осмотра нарт, для отдыха уставшим собакам и, наконец, для преждевременного ночлега...

Я несколько раз замечал, как мой друг Атык, помахав вдруг куском мороженого оленьего мяса и что-то громко и приветственно крикнув Коровье, едущему позади, высоко бросает ему в подарок мясо. Оно вонзается в мягкий снег Коровья обезьяньими прыжками подскакивает к подарку, ловко выхватывает его из снежной норы и тотчас принимается жевать. Другие каюры часто угощают его табаком. Видимо, боятся. Хотя и бывший шаман, да кто его знает — еще найдет беду, что тогда сделаешь.



Лучше откупиться заранее пустяковыми подарками. Вот и задабривают. А Коровья принимает подарки как должное, как ясак, как дань своих верноподданных. Только Рольтынват ничего не дарит Коровье. Рольтынват держится независимо и гордо. Он никого не боится, он смеется над шаманами. Коровья смотрит на него как на богохула.

В жарко натопленной избе быстро сохнут наши чижи, кухлянки, малахаи и рукавицы. Хозяин угощает нас медвежатиной. Мальков встретил медведя километрах в десяти от Кременки, когда собаки вдруг оголтело, с громким лаем понесли вперед. Медведь сидел за камнем, притаившись и поджидая нарты. Услышав собак, он испугался и побежал. Собаки — за ним, никак их Малькову не догнать. Медведь бежит, за ним нарты во весь опор, за нартами — Мальков, руками машет, кричит на собак, а те его не слушают. Медведь оглянется — и снова вперед. На заструге нарты подскочили и перевернулись. Собаки невольно остановились, рвутся вперед (алыки не пускают), лают до иступления. Тогда Мальков спустил шесть лучших собак, развязал ружье и побежал им вслед. Вот и медведь совсем близко. Возле него собаки, они остановили, «поставили» зверя. То одна, то другая норовят схватить его за мохнатые гачи. Бедняга едва успевает увертываться, старается отбить нападение, но собаки ловко отскакивают, избегают ударов его увесистых лап.

В пятидесяти шагах, улучив момент, чтобы не попасть в собак, Мальков выстрелил и ранил медведя в живот. Взревел медведь и пошел на Малькова. Тогда охотник выстрелил с колена и угодил в сердце. Медведь упал через голову кувырком.

Жаркое из бурого медведя.

Жареные пельмени (на медвежьем сале).

Суп из оленины с сухарями.

Вареная оленина.

Галеты и консервированные фрукты.

Чай кирпичный, плиточный...

Таков был наш праздничный ужин.

Весь вечер мы говорили о великом празднике.

Ясным солнечным днем под бледноголубым, очищенным от серой поволоки небом мы бредем за собачьими нартами с горы на гору, ищем чаучу — оленеводов. Эту езду от жилья к жилью, от стойбища к стойбищу Мальков и называет ездой «по людям», «по чукчам», в отличие от совсем уже скучной поездки «без людей», то-есть по безлюдью, берегом моря, на Амбарчик.

Если не найдем чаучу, придется отдать собакам последний корм. Об этом тревожно переговариваются каюры. Нигде не видно следов чаучу и их оленьих стад.

Вдруг выстрел! Слышен звонкий лай. Мы с Атыком оборачиваемся и видим, как каюр Ненякай бежит вслед за своей нартой, тщетно пытаясь удержать собак. Впереди упряжки Ненякая не бежит, а летит заяц, вытянув лапы в одну линию, как белка во время прыжка с дерева на дерево. Ненякай



на полном ходу валит свои тяжело груженные нарты, и только тогда собаки останавливаются.

Теперь впереди всех вновь идет Атык, тяжело вытаскивая ноги из глубокого снега. Он «делает дорогу», облегчает собакам работу. Каюры поочередно «делают дорогу», протаптывают в снегу путь собакам.

Я скатываюсь с нартами в неглубокий овражек, запорошенный почти доверху снегом. Что-то белое выскакивает из-под нарт. Опять заяц. Опять понесли собаки...

Наконец, выбираемся на крепкий снег. Атык берет собак под свое командование. Ему они «гаркаются» лучше, чем мне. Нарты Атыка движутся головными в отряде. Уже стемнело, а мы так и не видели дня. Временами из-за туч показывается огромная желтая луна.

Никак не пойму, откуда у Атыка такая смётка: он и Ночью определяется в тундре, как у себя дома. Впереди мгла. Собаки идут в неизвестность. А Атык вдруг останавливает собак.

— Тынлилят! — говорит он мне. — Посмотри собак! — и уходит вперед.

Остальные нарты остановились позади нашей. Каюры приглушенно переговариваются друг с другом.

Атык вернулся и говорит тревожно:

— Дорога уйна (Дороги нет)!

Я соскакиваю с нарт, иду вслед за Атыком, но он почти сразу останавливает меня и показывает под ноги: мы стоим в нескольких шагах от бездонного каменистого обрыва.

— Камака (Смерть)! — говорит мне Атык.

Только один раз проезжал здесь Атык, но всё запомнил.

Атык гонит собак влево. Слышится его отрывистое «Куххх! Куххх! Куххх!»

Мы выезжаем на реку, которую Мальков называет Конской.

Чаучу и тут нет.

— Чаучу! Чаучу! Чаучу! — начинаю я тихонько звать пропавших в тундре оленеводов.

— Чаучу! Чаучу! Чаучу! — вторит в ответ, понявший мою шутку, Атык.

Но чаучу нет. Не видно и следов перекочевки.

Мы выбираемся на берег реки, где много ветвистого тальника. Это первый кустарник на нашей дороге. Ну как не остановиться около даровых дров!

Слышится раскатистое «Тааааа!»

Собаки, услышав желанный приказ каюров, останавливаются и вмиг валятся в снег. Каюры разжигают большой костер. Начинается «чай-работ-а», «чай-пауркен», любимое занятие в дороге.

Ночуем возле костра, в кукулях, подстелив под себя на снег тальниковые прутья. Это делается по совету Атыка. Ему не впервой бродить с собаками по тундре.

У костра тепло, порою даже нестерпимо жарко, а спина стынет от холода. Мы забрасываем в огонь охапки хвороста, огонь разгорается сильнее.

От выпитого чая повеселел даже Рамнуун. Выпито уже несколько полуведерных чайников.

Сосульки на опушке малахая старого чукчи растаяли, и вместо них при свете костра блестят искрящиеся росинки. Рамнуун распустил у самых плечиков завязки конайт, быстро разулся и, придвинув босую ногу поближе к огню, стал просушивать свои кенчи (меховые чулки). От них идет облачко пара.

Рамнуун — замечательный рассказчик чукотских преданий и сказок. Я слышал об этом еще в Певеке и не раз просил старика рассказать что-нибудь о Чукотской земле. Только сегодня, сидя у такого жаркого костра, после отчаянного чаепития, Рамнуун впервые согласился, наконец, исполнить мою просьбу. Все сгрудились возле старика, приготовились слушать. Он будет говорить о Рольтыиргине, легендарном чукотском юноше, ехавшем на волках за своей невестой...

...Рольтыиргин был сиротой. Жил он со старой теткой у Белых скал бедно и голодно. Как-то раз поехал он в ближнее селение добыть нерпичьего жира. По дороге встретили его два человека и позвали в гости к старику, который жил высоко на горе, в большой яранге. Старик подарил Рольтыиргину красивую одежду, и тот в новой кухлянке, в новых конайтах и торбазах стал самым красивым юношей тундры. Тогда старик приказал Рольтыиргину ехать в селение и сватать себе в жены дочь старого чаучу. А в нарты Рольтыиргина он впряг двух волков.

Рольтыиргин послушался. К себе в ярангу у Белых скал он вернулся с красивой молодой женой, охотился на морского зверя, и ему стало сопутствовать счастье. Каждый день убивал нерпу. Пошла о Рольтыиргине слава, как о большом чародее-шамане.

Однажды у богатого чаучи сильно заболел любимый сын. Отец больного попросил Рольтыиргина его вылечить. Тот согласился и вылечил больного. Тогда богатый чаучу отдал Рольтыиргину половину своего большого стада. Уехал Рольтыиргин с морского берега. Стал он сам богатым чаучу.

Чай пьет, трубку курит, мясо оленье ест, сколько хочет, в гости ездит к береговому и к оленним чукчам. Батраки на него работают, стараются. Родился у него второй сын, еще лучше первого. Стали все о Рольтыиргине говорить, что вот жил-был бедный сирота, а стал богачом-шаманом, и много стада у него, и много людей на него работают. И совсем забыл о том, как сам жил когда-то в бедности с теткой и как темно, холодно и голодно было у него в яранге...



## На охоте. Справа охотник у нерпичьей лунки

### (По мотивам чукотских костерезов)

А на острове Иттыгран, недалеко от Чаплина, жила одна старуха. Жила бедно. Муж у нее давно умер, и она осталась одна в яранге с кучей маленьких внучат. Случилось так, что в один из жестоких штормов все сыновья старухи погибли в море, — унесло их на льдине во время охоты на моржей.

Богач Рольтыиргин отказал старухе в помощи. И позабыл об этом. Но старуха запомнила обиду. Стала старуха шаманить, накликал беду на Рольтыиргина и на его детей. Сначала умер у Рольтыиргина старший, а вскоре и второй, последний, сын.

Отвез отец их на нартах в тундру, изрезал новую одежду на мертвых сыновьях. Бросил, по обычаю, тела в тундре, чтобы прибрали их песцы и голодные собаки.

Живет Рольтыиргин и все думает: кто же накликал на него беду? Однажды увидел Рольтыиргин во сне ту бедную старуху. Заметил он, куда она ходит. А ходила старуха через мыс Дежнева.

Пошел Рольтыиргин подкарауливать старуху ночью к мысу Дежнева. Завязалась у них борьба. Долго они боролись. Три дня и три ночи, до самой смерти. И на том месте, где кончились они оба разом, стоят ныне два камня. Побольше камень — Рольтыиргин, а поменьше — Импенукай, что значит по-чукотски — старушка...

Рамнуун окончил сказку, не спеша выбил трубку о дугу нарты и спрятал в кисет за пазуху, под кухлянку.

Потом, точно так же не спеша, натянул просохшие кенчи и торбаза на согrevшиеся у костра ноги.

— Вот, — сказал он, — был человек, трудился, охотился, заботился о тетке и жене, людям добро делал, а разбогател и позабыл о труде. Перестал работать. Сам ничего не делал, только все кругом на него работали. Оттого и погиб. Говорят, и на Большой земле всех богатых давно выгнали, остались одни труженики, — Рамнуун пытливо посмотрел на меня.

Так неожиданно завязалась беседа о советском строе.

Рамнуун не имел спального мешка. Готовясь ко сну, он вытянулся на оленьей шкуре возле костра. Лениво пододвинулись к костру собаки. Они охотно ложились около Рамнууна на протаявшую и оголившуюся от снега землю. Рамнуун подозвал головного пса, и тот, вытянув лапы, разлегся совсем рядом. За головным подошли к Рамнууну еще несколько собак. Спать рядом с собаками было теплее, — старик так спасался от стужи.

Утром снова мела пурга. Ветер гасил наш костер. Отлеживаясь в спальных мешках, мы с Атыком жевали сухари (кау-кау) и заедали их снегом.

Вскоре затихло, и мы тронулись в путь всем поездом.

То и дело перед самой мордой передовых псов шумно взлетают белые облачка. Это куропатки. Они быстро летят в сторону. Собаки встревоженно смотрят на ускользнувшую добычу.

— Ёронг! — неожиданно и радостно кричит Атык.

Вдалеке видна одинокая чукотская яранга. Вокруг нее снег истоптан оленями. Эти северные красавцы выкапывают, вернее выбивают копытами из-под снега свой корм — пушистый зеленовато-белый мох — ягель.

Атык поясняет, что, судя по следам оленей, впереди яранга бедняка. У него маленькое стадо, едва ли бедняк накормит нас и собак.

Все же мы едем к яранге.

У жилья стоят беговые олени нарты. Они словно выточены из кости искусным мастером, так ажурна вся их конструкция.

Сначала навстречу приезжим, по обычаю тундры, выходят женщины. Затем показываются и мужчины. Они выползли из яранги после того, как женщины оповестили, что приехали хорошие люди, без злых намерений.

Возможно, что женщины расценили нас после того, как мы угостили их папиросами.

Бедняк Аутхут — хозяин яранги — встретил гостей возгласом удивления:

— Каккумэ!

Он удивлен неожиданным появлением столько нартов. Удивлен, но не обеспокоен. Он потчует нас, чем может: мороженой рыбой, олениной, варит чай, который мы достали ему в подарок с наших нартов. Аутхут говорит каюрам, что вблизи кочует кулак Келетейгин, и подробно объясняет, как к нему проехать. У Келетейгина до двух тысяч оленей и много яранг. Он охотно продаст нам оленей за плиточный табак, чай, сахар и деньги.

Оказалось, что мы пережидали пургу в пяти километрах от Келетейгина. Нас отделяла от него только большая гора.

Нарты трогаются одна за другой по направлению к стойбищу Келетейгина. Вот и оно! Девять яранг! Такого стойбища мы еще не видели в тундре. Это целый городок!..

— Атыкай, каккумэ! — восклицает один из батраков, завидев головную упряжку.



— Какку! Какку! — слышится возле яранг, откуда выбегают женщины.

Все тянутся за папиросами. Начинается мимический, но оживленный разговор.

Собаки Келетейгина, почуяв наших, голосисто воют. Мы окружены толпой миловидных чукчанок. Они оживлены появлением гостей. Их лица не обезображены татуировкой. Все в женских керкерах — широких меховых комбинезонах, одетых на голое тело. Им и на морозе жарко: у некоторых левая грудь обнажена, выпростана из-под керкера. Девушки впервые видят папиросы и берут их в рот табаком. Снова слышится веселый смех, прибаутки.

По всему видно, что наш приезд — большое событие в монотонной жизни стойбища. Огонек чукотского любопытства подобен спичке: он вспыхивает мгновенно и быстро гаснет.

Вдруг все замолкают. Лица вытягиваются и настораживаются. Из большой яранги, стоящей в центре стойбища, навстречу к нам идет маленький, невзрачный человек. Это и есть Келетейгин. Одет он бедно, беднее Аутхута. Маскарад его понятен, — невидимому, он принял нас за контролеров.

У кулака Келетейгина по ярангам живут батраки и батрачки — всё дальние или близкие родственники. Долгие годы кулак беспощадно эксплуатировал своих родичей, распоряжался ими полновластно. Теперь он чувствует, что близится конец его власти. Вот он и уходит в глубину тундры, где его никто не увидит и где пока еще можно жить по-старинке...

Келетейгин внешне очень любезно приглашает нас к себе в полог, внутреннюю часть яранги. Это как бы меховая четырехугольная палатка, втиснутая внутрь яранги. В пологе, сшитом из оленьих шкур, — входная шкура — чаургин — заменяет нашу дверь. Под эту шкуру надо подлезть осторожно, чтобы не выпустить тепло и не натащить снега. Мы выбиваем, по примеру Келетейгина, свои одежды и обувь оленьими ребрами и пролезаем вслед за хозяином в полог. Он весьма просторен. У задней стены горит большой яркий светильник «ээк». Фитилем служит мох, а горячим — нерпичий жир, его выменивают у береговых на оленьё мясо, шкуры и жилы для шитья. Жирник освещает и обогревает ярангу. А когда хозяйка вносит в полог большой чайник, становится невыносимо жарко.

Шкурами, словно коврами, застлан земляной пол. Хозяйка кладет на пол большую доску, это — стол. Перед гостями появляется деревянный ящик — походный буфет кочевника. В ящике бережливо покоится посуда. Каждая чашка и каждая тарелка в ровдужном футляре. Разобьешь посуду в тундре, не скоро купишь. До фактории далеко, да и подходят кочевники туда лишь раз в год.

Вот уже пустеет второй полуведерный чайник, выпит до дна и третий... В пологе становится так жарко, что все понемногу начинают снимать с себя меховые одежды. Некоторые из каюров оголяются до пояса.

Я выхожу из душного полога. Трое молодых чукчей катают детей по ровному снегу. Нарты для катания сделаны с большим мастерством. Дети укутаны тепло и заботливо.



Меня снова зовут в полог. Хозяйка предлагает гостям нарезанное на доске тонкими ломтиками вареное оленье мясо. После сытной камитвы все закуривают — и женщины и мужчины. В пологе ничего не видно, как на море во время тумана.



## **Чаучу сзывает оленей**

### **(По мотивам чукотских костерезов)**

Пока мы занимаемся чаепитием, женщины готовят для гостей отдельный полог. Они томительно долго выбивают разостланные на снегу меха. Наконец, все приехавшие устроены. Чаучу то и дело поднимают входную шкуру, любопытствуют, показывая нам свои улыбки и жемчужные зубы.

Стемнело раньше вчерашнего. В темноте я вижу силуэты людей, подкрадывающихся к оленьему стаду. Ветвистые рога тысячеголового стада похожи на густую заросль кустарника. Оленей так много, что шум напоминает отдаленный водопад. Над стадом стелется облако пара. Это облако движется вперед вместе с оленями.

Келетейгин тоже подкрадывается к стаду. Он безмолвно, одной только рукой, указывает на оленей, намеченных к убою.

Для прокорма нашего каравана — собак и людей, на длительное время похода по тундре надо забить несколько оленей.

У каждого из батраков в руках аркан (чаут, по-чукотски). Чауты свистят в воздухе, подобно пулям. Олени встревоженно слушают эти посвисты. Вот несколько оленей оторвалось от стада и мчится вперед. Снова свистят чауты, — и рога опутаны крепко. Олень пойман, но еще не сдается. Он бежит снова к стаду, ища помощи, пригибает к земле рога, бьет сердито копытами, мотает головой из стороны в сторону, стремясь освободиться от пут. Чукча-ловец то даст ему отбежать, то подтянет слегка к себе. Олень выбивается из сил, дышит тяжело, все меньше становится расстояние между ним и человеком. Тогда к оленю, все так же крадучись, пригнувшись к земле, подходит Келетейгин. Он держит впереди нож — тот самый нож, которым недавно мельчил наш плиточный чай и резал вареную оленину.

Короткий и быстрый удар под левую лопатку. Олень слегка охает и рвется в сторону, будто натолкнувшись на неожиданное препятствие. Затем остановился, покачнулся и замертво упал на снег, обagrив его кровью.

Другого оленя валят чаутом, притягивая за опутанные рога к земле. Тогда один из ловцов хватает оленя за рога, другой грузно садится к нему на круп, а третий бьет ножом под лопатку.

Самую трудную работу — свежевание оленей — с искусством анатома выполняют женщины. Они стараются сберечь каждое сухожилие. Жилами в тундре шьют одежду и обувь. — Обычные нитки быстро лопаются на сильном морозе, — говорит Мальков.

Во время обдирки шкур старухи подносили матерям их детей для кормления грудью.

Мы спим в пологе. Поутру жена Келетейгина угощает нас чаем.

За оленье мясо мы расплачиваемся с Келетейгином. Он доволен платой и выходит провожать нас за ярангу.

Итак, мы видели оленевода-кулака, последнего кулака в тундре... Его стадо совершает большие перекочевки в поисках лучших пастбищ, что благоприятствует росту поголовья. Олень для Келетейгина и средство передвижения, и пища, и поставщик материала для постройки жилища и пошивки одежды. Маленькое стадо оленевода-бедняка не может обеспечить его жизненно-необходимых потребностей. Бедняк не рискнет со своим стадом итти на большие перекочевки.

Только коллективизация откроет бедным оленеводам путь к счастью.

Там-Там не поехал с нами. Мы движемся без Там-Тама в поисках новых чаучу, у которых можно остановиться на ночлег после утомительного дня езды на собаках. Собаки идут вперед по колено в снегу, покручивая кольцеобразными хвостами.

— От жилья к жилью! От жилья к жилью! — говорит Мальков на первой стоянке. Это наши станции в тундре.

Наш путь вновь идет по горам, словно высеченным из белого сверкающего мрамора. Атык показывает мне следы горного барана. С горы на гору, с горы на гору. Собаки то медленно тянут вверх, то бешено несутся вниз. Отвечая моим мыслям, Атык говорит:

— Атык дорогу понимай!

И действительно, Атык, идущий снова головной нартой, так же уверенно прокладывает дорогу среди камней, как он прокладывал ее по пустынной тундре.

Каюр Ненякай мало похож на чукчу. Отец у него эскимос, мать — чукчанка. У него круглое, полное и совсем не скуластое лицо. Он бледнее остальных каюров, чья кожа выдублена ветрами и солнцем. Говорят, что Ненякай бежал из Соединенных штатов, откуда-то с Аляски, где его жестоко эксплуатировал хозяин-американец... Он всегда весел и любит поговорить, рассказать что-нибудь интересное. У него нет теплого малахая. Вдруг после одной из ночевки я вижу на Ненякае волчий малахай Атыка. Атык не

дорожит своей собственностью, он подарил свой замечательный малахай нуждавшемуся товарищу.

Вершины гор озарены солнцем, которого мы давно уже не видим. Короткий день быстро гаснет. И вот опять луна и звезды над снежной тундрой. Радугой повисло северное сияние. Сначала дуга сияния едва заметна, потом она разгорается все ярнее и отчетливей и вдруг сразу потухает, будто ветром сдуло ее.

Опять рванулись собаки и дико залаяли. Они, должно быть, почуяли зайца. Нет, это не заяц! Нас нагоняют олени нарты. Собаки не в ладах с оленями; они живут так же недружно, как у нас кошки с собаками.

Собачьи нарты несутся на оленей, и напрасно впереди каждой нарты бегут каюры, дубася остолом собак и крича только одно: — Кухх! Кухх! Кухх!

Приехал Там-Там. Он сторонкой, не приближаясь, объехал наш караван и возглавил его, оставив нас на почтительном расстоянии. Теперь оленьими беговыми узкими нартами он делает нам дорогу. Мы поднимаемся в гору. Собаки с каждым километром дышат тяжелее. Люди соскакивают с нарт, помогая собакам. Как тяжело бежать в глубоком снегу-уброде!

Наконец, выбрались на гребень перевала. Сильный ветер трамбует и уплотняет здесь снег. Мы ступаем теперь по твердому снегу — по «убою» — и не проваливаемся, как еще совсем недавно.

— На перевалах всегда сильный ветер, — объясняет мне Атык смешанным русско-чукотским языком.

Подъем на перевал завершен. У самого гребня, спрятавшись за выступ, отдыхают вконец обессиленные люди и собаки. Люди — на нартах, собаки, свернувшись комочками, — подле нарт.

Как быстро наступает на севере ночь! Лишь пробегут несколько часов собаки — и уже за горами утонули последние лучи солнца, расцветив на мгновение вершины прощальными и нежными красками.

Лунной ночью, когда серебром светят звезды и снега, мы спускаемся вниз с крутого перевала. Впереди камень. Собаки Ненякая мчатся прямо на него. Сейчас его передние нарты разлетятся вдребезги от первого удара. Задняя собачонка свалилась. Кажется, что она уже попала под полозину. Собаки оголтело мчатся, будто снеговая лавина. Но каюр не теряется, он валит нарту на всем ходу. Стоп! Упряжка остановилась. При помощи остола каюры сдерживают спуск нарт, Атык мастерски отворачивает собак и от камня и от поваленных нарт, возле которых возится Ненякай. Мы проносимся мимо него, как птица.

Атык резко тормозит. Из-под остола плотной струей брызжет взрытый снег, словно огонь из-под ножа точильщика. Атык соскакивает с нарт и, цепляясь руками за дугу, оттягивает нарту, выпрямляет ее путь, чтобы не перевернуться на крутом вираже, не изломать хрупкие полозья.

Собаки выбегают к реке. Напряжение падает. Успокаиваются и люди и собаки.

— Тинь-тинь! — объявляет мне Атык.

Он не устает повторять те чукотские слова, о которых знает, что они стали мне знакомыми и понятными.

На берегу реки чернеет высокий тальник — предвестник близких лесов. Но до них еще надо пройти горы и трудные перевалы. Еще надо ползти на крутизну, надо спускаться с этих крутых гор. Не скоро попадем мы в настоящую дремучую тайгу...

Я соскучился по лесу, давно не видал городов. И Нижне-Колымск мне представляется большой колымской столицей.

Высокий густой тальник радует меня. Атык тоже радуется кустарнику. В Певеке нет и этого...

— Чай работать хорошо!

Он рассматривает любое растение только с точки зрения полезности для нашего путешествия.

Мы едем от жилья к жилью...

На посеребренном лунной снегу ложатся длинные синие тени. День необычайно короток. Чуть подсветит невидимое солнце маковки гор, и уже снова выходит луна, гаснут краски. Нарты назойливо стучат по кочкам, запорошенным снегами.

И полсотни, и сотни лет так ездили по бездорожью тундры. Но уже на помощь первобытному транспорту вступают красноезвездные самолеты и пароходы в решительную битву с северным бездорожьем. Уже пробились к северным берегам суда с грузами. На голых берегах высадились большевики и комсомольцы, они поднимут благосостояние далекого снежного края, изменят его лицо.

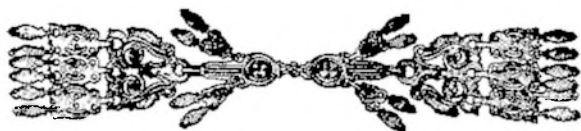
Пятнадцать лет назад, после окончания гражданской войны, когда надо было приводить в порядок военно-морской флот, был брошен клич — комсомольцы на флот! По путевкам комсомола тысячи юношей пришли служить на корабли. Они полюбили море и остались навсегда моряками. Партия большевиков бросила новый клич зовущий комсомольцев на Север. Они идут сюда, смелые юноши и девушки, сверстники Васи Косина, идут на северные параллели по путевкам) партии и комсомола, как некогда их предшественники шли на флот, чтобы крепить его боевую силу.

Волей партии Ленина — Сталина к северным параллелям прокладываются широкая морская, речная и воздушная дороги.





# Граница леса



...Чем выше мы поднимаемся в гору, тем лучше виден рассвет.

— Тынэуи! — объявляет мне Атык, показывая на восток.

Это начало рассвета. Тынэуи!

Тынэуи — означает, что звезды померкли, поднялся предрассветный ветерок и чуть колыхаются над горизонтом белые полосы.

Тынэуи — это предрассветный ветерок, который прогоняет прочь темноту ночи и тянет за собой дневной свет на Чукотскую землю.

Тынэуи, вместе с тем, самое красивое женское имя на Чукотке.

Атык объяснил мне, что по-чукотски есть много названий зари.

— Смотри! Тынэуи уже пропала! Вот куутынаэ! — объявляет мне каюр.

Немножко стало светлее. Предутренний ветерок затих, и ярче забелела полоса над горизонтом.

— Вот куутынаэ пропал! Вот нытотын-тоты-лякэн! — машет остолом каюр, показывая на небо.

Ночь уходит. С востока загорается день, а на западе еще ночь.

— Смотри! Вот тантотын-тоэ! — говорит Атык. Уже светло.

Заря захватила все небо.

Горит заря над Чукотской землей. Самые нежные шелка не могут передать красоты утреннего неба. Я зачарованно смотрю на ласковые полутона.

— Это эргер-оэ! — спешит объявить Атык.

Заря пропадает. Гасятся ее волшебные краски.

— Тан-эргер-оэ! — кричит Атык.

Стало совсем светло.

Только на языке народа, близкого к природе, на языке людей, любовно и внимательно наблюдающих за явлениями природы, заря может иметь столько наименований...

Собаки следят по снегу кровавыми росинками, падающими из пораненных лап.

Мы мчимся по реке. Нарты стучат по изломанному и наторошенному льду и вдруг круто поворачивают вправо. Слева от нас открытая вода, ее не берет и двадцатипятиградусный мороз. Это — первая наледь на нашем пути.



Туман, стоящий над наледью, издалека предупреждает каюров об опасности.

С наледями нам еще предстоит встречаться. В Якутии они нередко достигают огромных размеров. О наледях будет еще разговор...

Собаки почуяли дым. Забыв про усталость, упряжки несутся во весь опор туда, где стоят две яранги.

Вот они, круглые чукотские шатры, дымящиеся, как сопки. Уатагин — хозяин одной из яранг — поясняет нам, что мы выехали на реку Большую (здесь так называют Большую Бараниху). Чукчи рыбачат. На Уатагине нечто вроде пальто, сшитого из двойного меха. Козлиная жидкая бородака вовек не знала бритвы.

Хозяин яранги сообщает нам, что ехать «по чукчам» «три солнца».

Значит, только три дня отделяют нас от границы лесов.

Тогда кончатся ночевки на снегу под открытым небом.

Кончатся заботы о том, где найти топливо для костра.

Через три дня мы — в лесу!

Дети выглядывают из яранг, но дичатся приезжих. Я все же приманиваю их к себе конфетами.

Пока на огне готовится «камитва», прошу каюра отрезать кусок мороженой сырой оленины. Губы к ней примерзают словно к железу. Но чувство голода сильнее боли.

Посадить человека с утра на нарты, повозить его по тундре в мороз и в ветер до поздней ночи, заставить побегать за нартой километров пятнадцать-двадцать, несколько раз поднять опрокинувшуюся нарту, а затем вновь увязывать развалившийся груз, у кого не появится аппетита! Тут съешь и мороженую рыбу, и сырую оленину, и звериный жир, и все, что ни придется.

Раскинута палатка. Мы ночуем вблизи яранг. Истекает десятый день пути.

Утром никак не добудиться каюров. Они встают поздно и садятся за бесконечное чаепитие. И пока не выпьют три полуведерных чайника, никуда не поедут, как их ни убеждай. По-своему они правы. Раз как-то мы заоченели в пути и все из-за того, что не поели с утра ни масла, ни жирного мяса, не напились чаю. Каюры долго потом толковали нам, как вредна спешка в тундре.

Мы снова в горах. Бегут вперед нарты. За ними по снегу бегут и люди. Снова чередуются стоянки и вождение полозьев.

Собаки Атыка и других каюров запряжены цугом. От барана нарты идет длинный потяг — надежный лахтачий ремень, и к нему елочкой подвязаны алыки — постромки. Каждый алык тянет одна собака. У Атыка шесть рядов парных алыков, у Коровьи, у Малькова тоже шесть. Это самые сильные упряжки в нашем караване.

Некоторое время Атык ехал на одиннадцати собаках. Своего любимца Матау он оставил у знакомого чукчи, чтобы взять на обратном пути. Матау сильно иссушился за дорогу. Пусть отдохнет немного в тундре на приволье.

Но оставив Матау, Атык загрустил. Молодой каюр с грузовой нарты Айнакургин заметил это. Айнакургин привык с детства уважать старших. Он привел к Атыку одну из своих собак и подвязал ее к пустому алыку. Атык улыбнулся, он не отказался от такого внимания. Теперь у Атыка опять полная упряжка.

На Новой Земле, да и вообще на всем европейском севере, собак запрягают «веером», потяги расходятся прямо от барана нарты. Такой способ удобен в совершенно безлесной местности, а цуговой упряжкой проедешь повсюду: и в тундре и в лесу. Все разговоры о близком лесе. Особенно волнуется юный Рольтынват. Он никогда не видел леса, не видел, «как растут дрова».

— А солнце в лесу видно? А луну? А звезды? — спрашивает меня Рольтынват на остановках. А много ли зверя в лесу? А какой там водится зверь? Заходят ли в лес белые медведи? Есть ли лес в Москве? Близко ли море?

Пробираемся в горном кольце. Горизонт заставлен высокими горами. Это Северный Анюйский хребет... Наибольшая высота над уровнем моря — 1 775 метров — находится близ реки Большой Баранихи.

Никак нам не выбраться из этого горного лабиринта. Каюры ищут второй перевал. В поисках его мы высоко забираемся в горы. Когда оглянешься назад, кажется, что смотришь в низину с самолета. Скрытая полумглой заснеженная земля лежит где-то в глубине. А здесь наверху пороботал ветер: местами камни совсем оголены, будто на них и не было снега.

На высоких столбах уложена кем-то оставленная кладь. Никто не тронет ее в тундре, а если тронет, то оставит зарубку, отметку. Был-де такой, ехал, нуждался и взял. Но украсть не украдет. Таков закон тундры.

Атык смотрит на кладовую и говорит:

— Чаучу поехал!

Это значит — здесь был чаучу и откочевал со своей ярангой и стадом.

Очевидно, для оленей нехватило корма, оскудели ягельники и чаучу подвинулся дальше, положил на столбы свою кладь, чтобы ее не погрызли прожорливые песцы и волки. Никто, кроме зверя, не испортит имущества чаучу.

Ночью, ветреной и морозной, мы заехали в небольшое стойбище. В нем три яранги. Хозяева яранг — бедняки, корма у них для наших собак не оказалось. Взяв наутро проводника, мы едем дальше.

Проводник часто переключается с Атыком. Они говорят скороговоркой, слегка вскрикивая на последнем слове каждой фразы. Будто переключаются в лесу.

Нарты ползут в гору. Идем позади нарт, утопая по колено в снегу. Собаки тоже вязнут, и приходится помогать им тянуть нарты. Правы были комсомольцы в Певеке: в якутских высоких торбазах начерпашь здесь снегу, а в чукотских плекетах и конайтах, стянутых внизу ремешками, ноги совершенно сухие.

Снова пронизывающий ветер на гребне перевала и головокружительный спуск, как крутая посадка самолета с большой высоты.

— Садись! — кричит Атык.

Я слушаюсь своего капитана. Начальник зимовки каравана «Литке», старый и опытный полярник, провожая меня, сказал:

— Счастливого пути! Теперь у вас будет другой капитан. Каюр Атык. Он будет капитаном нарты и повезет вас через тундру. Слушайте его, как капитана корабля.

Перевал позади. Нарты выбегают на реку. Берега ее заросли тальником.

— Тинь-тинь! — восклицает Атык. — Тинь-тинь есть, рыбка уйна! Лед есть, а рыбы нет, — печально добавляет Атык. Он непрочь отведать свежей рыбы.

Выехали на реку Россомашью, горную, извилистую, вспученную наледями, опасными для нарт. Атык говорит, что в Россомашей зимой рыбы нет, а летом, когда нет льда, рыбы много. Он хорошо знает эту реку и радостно перечисляет знакомые ему «камни» — горы. У каждого камня свое имя.

Гоним собак в Островное. Атык не говорит Островное, а только Пальхен, по названию горы, находящейся вблизи Островного. Мальков называет Островное Анюйской крепостью. Некогда здесь на севере каждый городок и каждое селение были острогом или крепостцей. Анюйская крепость — такой же анахронизм, как в Москве названия Кузнецкий мост или Арбатские ворота...

Наш караван делает первую зимнюю дорогу по реке Россомашей. Однако вся дорога уже исхожена до нас.

Атык рассматривает следы зверей и поясняет мне, кто пробегал здесь по свежей пороше, кто оставил на снегу «лапочки».

Вот заячьи торопливые следы. Снег был пушист и мягок. Заяц плюхался в него, оставляя глубокие ямки. А вот «лапочки», похожие на собачьи, только чуть крупнее. Атык долго мне толкует, чьи это следы, но я никак не могу его понять. Много песцовых следов; снежный покров весь испещрен их пунктиром.

Реку, по которой несутся наши нарты, не зря называют Россомашей. Наверное, там, откуда она берет свое начало, есть леса и в них водится этот редкий зверь.

Атык, показывая остолом на высокие горы, в которых пробила свой путь Россомашья, говорит:

— Утыка дрова! Утыка ёронг росомаха! Там лес! Там росомахи! В лесу ее яранга.

Ранняя ледяная дорога вдруг прерывается голубыми, аквамариновыми пятнами наледей. Вот наледь во всю ширину реки. Высоко вспучило и разорвало лед. Вода образовала большое озеро и никак не замерзает.

На берегах невысокий тальник. Он весь в пушистых куржаках. И снежные пушистые лапы ветвей кажутся новогодней бутафорией. Закатное солнце сказочно освещает тундру и тальники карминовым цветом. Но только на один миг. Красный огонь гаснет вместе с солнечными лучами, проглянувшими между гор.

За кольцом гор, мы знаем, — вечнозеленый лес. Все наши разговоры о нем, и Атык много говорит о лесе, растущем за большим «камнем».

Волчий воротник Атыка заиндевел так же, как ветви тальника. В полярном убранстве снегов и инея застыла вся природа. Одни лишь темные, аспидно-черные камни торчат из-под снега. Река источена звериными следами, и Атык не устает объяснять мне, чьи это следы.

Комсомолец Рольтынват, Танатыргин, Айнакургин и Корабья, никогда раньше не бывавшие в лесу, при виде рослого тальника восхищенно восклицают: «Каккумэ»! На берегу моря они знали только стволы деревьев, принесенных морем неведомо откуда. Морские течения и волны обтесали эти стволы, срезали сучья, сорвали кору...

На острых камнях, торчащих из-под снега, и на ледяных торосах собаки в кровь поизбили лапы и на остановках зализывают раны, жалобно взвизгивая и скуля.

Мы едем «на-проходную», как говорит Мальков. На-проходную, значит без смены собак и нарт, в отличие от езды «на-перекладных». Мы сами прокладываем себе первую дорогу. Проводники отпущены с подарками домой. Атык и Мальков сами держат курс среди камней, по застругам тундры.

Атык загрустил. Он не выпускает изо рта трубку, туго набитую острым терпким табаком. На мой вопрос, о чем он грустит, Атык отвечает молчаливым жестом, показывая на кровавые росинки, остающиеся на снегу от израненных собачьих лап. Красноречивое молчание...

Собаки Атыка «иссушились» за долгую дорогу, — «пристали», как говорят в тундре.

На исходе корм. Мы уже одиннадцатые сутки кружим и кружим по тундре, среди гор, по рекам, тальникам и наледям. И нет конца нашему пути. А сколько еще ехать до Пальхена!..

Широким поясом окаймляет Север нашу страну. На этом поясе бисером горят огни ненецких чумов, якутских юрт, чукотских яранг, эскимосских иглу... Люди в одежде из оленьих и нерпичьих шкур, отороченных мехом волка или росомахи, мчатся по этому поясу на собаках и оленях. Так же, как десять и двенадцать лет назад, в дымных ярангах, юртах, чумах, пологах горят жирники. Старые люди, сидящие вокруг них, курят листовой табак. Женщины разливают по глубоким блюдам крепкий чай из объемистых медных чайников. Но тут же комсомольцы читают книги, доставленные из Москвы, учатся политической грамоте и учат этой грамоте других.

Новая жизнь пришла и сюда — на дальний Север...

— Дрова мульчой! Дрова мульчой! — удивляется комсомолец Рольтынват.



Наши нарты подходят к границе лесов. По склону ближайшей горы взбегают вверх первые лиственницы. Это край лесов, как говорит Мальков.

Первый лесок на склоне горы выглядит, как новая страница с картинками. Деревья взбираются ровной шеренгой по самому гребню невысокой горушки к ее вершине, словно солдаты на приступ.

Мы выехали, наконец, к долгожданному лесам.

И все же это было несколько неожиданным. Лес брал нас под свою надежную опеку от пурги, непогоды, морозов, ветров. Он согреет нас теплом своих костров. Мы — под его защитой. И Рольтынват и Танатыргин и другие, никогда не видевшие лесов, восклицают в один голос:

— Каккумэ!

— Каккумэ! — несется вокруг нас.

— Меченьки! Хорошо, — говорит Атык. — Меченьки, чай-работать!

Мальков обещает, что скоро встретим чукчей, будет отдых людям и собакам. Чукчи зарежут оленя, подойдет чукчанка к нему, зачерпнет ладонью из глубокой раны у левой передней лопатки горсть темнеющей крови и трижды брызнет ею на восток. И протащит зарезанного оленя по снегу и положит головой также на восток. Таков старинный обычай. Если так не сделать, может пропасть все стадо оленевода. Так верят старики.

Горы меняют свой вид. То они стоят остроконечными сопками, будто вулканы, потухшие в давние времена, то вытянулись цепью по горизонту, словно великаны с головами, одетыми в белоснежные шлемы — шишаки.

С каждым часом нашего пути лес становится рослее и гуще. Мы то забираемся в его чащу, то выбегаем из нее.

Вот уже и первые следы росомах. Атык радуется. Будут подарки жене и детишкам.

Белые сопки стоят в лесах. Невольно вспоминаются мне хорошо знакомые Нижняя и Подкаменная Тунгуски, их лесистые берега, крутые и гористые...

Рольтынват не унимается. Он все дивится лесу, все кричит свое «каккумэ»! Лес взволновал комсомольца. Он говорит Атыку, что хотел бы остаться навсегда в лесу, построить здесь деревянную русскую «ярангу», привезти сюда неушку с берега моря.

Ему трудно передать свои мысли. Он сегодня очень взволнован. Ведь он-то и шел с нартами на Колыму только потому, чтобы увидеть лес, о котором много слышал. Теперь он видит сам, как растут «большие дрова».

— Ленин! Сталин! — восклицает Рольтынват. И лицо его, смуглое и обветренное, озаряется сиянием, чудесной мальчишеской улыбкой. Он знает Ленина и Сталина.

Рольтынват учится в Певеке, где в пологе устроена школа на пятнадцать учеников, первая здесь школа.

Его учит комсомолец, прибывший в тундру из-за моря, из Владивостока. Этот комсомолец и рассказал Рольтынвату и его товарищам о Ленине и Сталине, о большом городе Москве, о лесах, подступающих к границам тундры.

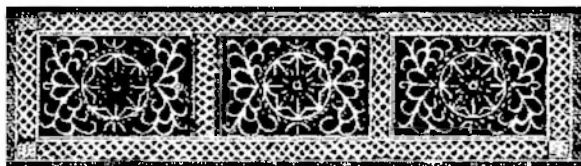


Я смотрю на беспредельные просторы Севера, вслушиваюсь в его безмолвие и благодарно думаю о смелых людях, пришедших сюда по наказу партии, по путевке комсомола с далекой «Большой земли», чтобы просвещать чукотскую молодежь.

Мне вспоминаются мыс Рыкарпий и залив Провидения, где остались наши молодые друзья, отрекшиеся на время от привычной жизни в родных городах, чтобы посвятить себя большому и благородному делу.



# У древней Анюйской крепости



В лесу много следов, оставленных большим оленьим стадом. Олени ископывали снег в поисках корма — ягеля.

Атык, увидев эти следы, радуется: — Чаучу! Чаучу!

Где-то вблизи чаучу-кочевники.

Прежде чем пускаться в путь, мы долго совещались, какой путь лучше избрать: берегом моря или тундрой? Ехать на нартах морским берегом проще, никогда не собьешься. Но на берегу нет ни одной целой поварни, негде сделать привал, негде большому каравану пополнить запасы корма для собак и людей. А в тундре мы среди людей. Решили ехать тундрой. Это дальше, и наши нарты сделали много петель в поисках чаучу, но так вернее.

Мы проезжаем в день не менее двадцати километров, а в некоторые наиболее удачные дни, по хорошей дороге, и особенно в начале пути, делали и сорок.

Но теперь собаки вконец измотались. Каюры и пассажиры все время идут рядом и помогают псам.

Вышел весь сахар. Завтра конец маслу и сухарям, — любимым Атыком «кау-кау». А Пальхена в этом каменном столпотворении и нескончаемой тайге так и не видно.

В беслесной тундре было просторнее, там даже ночью, когда светит полная луна, вся округа видна за десяток километров. В лесу тесно. Мы уже не очень радуемся лесу, хотя все ожидали его с таким нетерпением.

Лес становится выше и гуще. Нарты часто стучат о пни. Каюры то и дело жалуются на треснутые полозья. Собаки почему-то не хотят объезжать пни, а норовят перепрыгнуть через них. Каюры должны быть очень бдительны. Иначе нарты будут разбиты вдребезги.

Во встречных стойбищах мы уже не балуем детишек сахаром и конфетами. Да и сами едим только вяленую оленину без соли. Пьем кирпичный чай без хлеба и лепешек. Наши запасы, рассчитанные до самого Якутска, почти исчерпаны на первой же четверти пути. Получилось так из-за того, что мы брали продовольствие только на себя и каюров. А надо было брать вдвое-втрое больше, в расчете на подарки. Так заведено. В тундре и тайге не расплачиваются деньгами, здесь не берут за постой, но подарки принимают охотно. Чукчи не откажутся от денег за оленя, но охотнее зарежут его или уступят торбаза приезжему, если взамен им предложат кирпичного чаю, листового табаку, сахару или муки, — до ближайшей фактории кочевнику далеко...

Я проезжаю мимо Рольтынвата, остановившего свою нарту и вразумляющего одну из собак. Рольтынват очень рассердился на ленивицу, которая хитрит и не желает тянуть алык, не желает работать. Он нещадно бьет ее остолом и ругает по-своему. Атык обгоняет Рольтынвата и неодобрительно качает головой.

У Рольтынвата горячий, вспыльчивый характер. Это вызывает упрек спокойного и рассудительного Атыка. Он продолжает щадить собак и бережно обращается с ними.

Снег весь в следах белок. Чукчи показывают шкурки добытых ими зверьков. Они дивятся тому, что мы не покупаем такой замечательный сортовой товар, не понимают наш отказ, и даже несколько обижены, полагая, что мы, очевидно, ищем более лучших...

Мы на гребне «камня», и снова под нами, как под самолетом, леса, горы, холмы и извилины горных, заснеженных рек.

Мальков говорит, что это Каменная гора. Значит, ее перевал мы только что миновали. Здесь неподалеку Каменная река. За перевалом — стойбище Каменекуата. У него должен был дожидаться нас Там-Там. Он перегнал нас на оленях. Им не страшны глубокие снега. Там-Там едет с частым отдыхом, но в дороге сильно гонит своих оленей. Так он выкраивает время для отдыха.

А наши собачки совсем пригнули головы с высунутыми языками и тянут из последних сил. Помогаем тянуть нарты, Атык — за дугу, я — за грядку.

У Каменекуата красивое лицо. В нем есть что-то индейское и одновременно монгольское, — острый орлиный нос, широкие скулы, выразительные губы и детская мягкость в черных жгучих глазах.

В стойбище встречаем первых ламутов и ламуток. У них — другие одежды, другое жилье. Штаны — в обтяжку, кухлянка — в талию, малахаи у женщин похожи на шляпы городских модниц. Да и вообще ламутки кажутся нам модницами по сравнению с чукчанками. Ведь неуклюжие и однообразные кернеры — меховые комбинезоны — это всеобщая женская «форма» на Чукотке. Я вижу у ламуток на пальцах золотые перстни. Ламутки роются во внутренностях только что зарезанного оленя, не снимая украшений. Ламуты живут в ярангах без полов. Они поддерживают вечный огонь в кострах (в тайге топлива хватит). Спят в кукулях. Кукули широкие — на три и на четыре человека.

Все разговоры у нас об Островном — Пальхене, о древней Анюйской крепости.

Утром каюры совещались с Каменекуатом, как лучше ехать: рекой или напрямик, через горы, по перевалам? Ламут, недавно приехавший из Островного на оленях, говорит, что рекой нам не пробраться из-за наледей и многочисленных завалов плавника. Завалы там, что горы непроходимые! Лучше ехать напрямую. Дорога будет трудная, снежная, но верная, доедем. Рекой же ехать — под снегом вода, опасно, нарты можно приморозить.

Тянем в горы. Уже две недели как стали горцами-кочевниками и, где днюем, там не ночуем, и каждый день меняем свои места.

Там-Там «делает» дорогу впереди на пятиолennых нартах. За ним стелется снежное облачко. Он на новых нартах, которые сделал для него Каменекуат из сухого выдержанного леса. Издалека видна новая розовая камлейка Там-Тама, раздуваемая ветром наподобие шара. Едем снова по безлесью. С нарт видно далеко вокруг.

Перед новым перевалом каюры приступают к «чай-пауркен». Это очередная затея хитрого Коровьи. А после чаепития, длящегося бесконечно, опять новость: дальше сегодня не поедут, надо отдыхать!

Коровья говорит:

— Мало-мало спать и тагам! Вся луна ехать!

Он обещает немного поспать, а затем всю ночь ехать.

Пасмурно. День угасает без цветных переливов.

Ночуем в лесу у костра. Коровья не нашел в ночной темени никаких яранг.

Наутро после мучительного перевала мы сбились с пути. Следы там-тамовских нарт занесло снегом. Каюры долго советуются между собой, куда ехать: вправо или влево?

Атык не принимает участия в этом обсуждении, он что-то ищет, ходит далеко от наших нарт в разных направлениях.

— Утыка Там-Там чипичка! — вдруг слышится громкий голос Атыка. Он объявляет, что нашел следы ночлега Там-Тама, пепел его костра, след его нарт...

А Пальхена все не видно.

— Большой камень кончился, — объявляет мне Атык.

Он смотрит печально на своих собак и говорит:

— Собачки плохо! Дорога худая! Корм нет! Чаучу нет! Пальхен нет! Плохо-плохо. Этьки!

Атык угощает меня топленным и замороженным оленьим жиром и копченой олениной (подарок Каменекуата).

Нарты выкатываются на какую-то реку. Мы несемся по ее зигзагам, вспученным наледями за каждым поворотом. Я попадаю ногами в воду и бегу к Малькову за помощью. На тридцатиградусном морозе не трудно обморозиться. Мальков спокойно обсыпает мои плекеты снегом и быстро снегом же высушивает их, не позволяя влаге проникнуть за чижи. Затем прутиком оббивает плекеты, от которых со звоном отскакивает тонкий, как стекло, лед. Наша нарта последней прибывает к месту ночевки, где уже полыхают два костра. Столпившиеся вокруг люди приплясывают от стужи.

На речном берегу сурово высится лес. Никак не ожидаешь встретить здесь такие деревья. Это высокоствольные корейские ивы, чозении! А вот и благовонный тополь. Огромные деревья в этом чудесном оазисе у самой лесной границы за полярным кругом кажутся величественными.

Сушимся у большого костра. И дым отечества нам сладок и приятен... Оттаяли сосульки на малахях, меха сплошь покрылись росой.

Утром в путь. И снова река нам преграждает дорогу.

Опять завалы один выше другого. Здесь промчался буйный ледоход, повалил, выкорчевал деревья, они лежат комлями вверх. Ими, словно мостом, опоясана река. Весной, в половодье, река прочертила свой путь, подломила водяным штурмом береговой лес и, порезвившись недолго, залегла на долгую зимнюю спячку, как медведь в своей берлоге. Нет хода нартам. Каюры ведут нарты береговым тальником, и он больно хлещет и собак и людей.

— Луна ущерблена, — говорит мне Мальков, показывая на тонкий серп луны.

Мальков рассказывает о том, как его отец — колымский каюр — возил на шестнадцати собаках одного купца в царское время из Крепости в Средний (из Нижне-Колымска в Средне-Колымск). Возил на спор в тысячу рублей. Довезет за сутки до Среднего — получит два «Петра» (две пятисотрублевые ассигнации), не доведет — не получит.

И старик рискнул, повез. Только предупредил купца:

Держись за нарточки крепче!

И собачки понесли...

Купец выпил изрядно перед дорогой и протрезвиться не успел, как уже показался Средне-Колымск. Ехали без всякого груза, налегке. Но все же старик ошибся. Приехал он не за сутки, а за сутки с лишком. Получил два «Петра» за свою работу и потерял собак. Все издохли...

...Опять наледи...

Коровья взял влево, а все остальные вправо, как советовал Атык и как ехал Там-Там на своих оленях.

Снова Атык называет своих собак по имени, как на проверке:

— Аттагай, Мультик, Тэдди, Утельхен, Угрунку, Кау, Матау, Эспикр...

Имена других записать русскими буквами я не могу, Атык выговаривает их, удивительно прищелкивая языком.

Дорога Там-Тама вновь потеряна, и перед Островным нам суждено, очевидно, малость покружить.

Коровья поехал по оленьей дороге, которую проложили чьи-то стада к Пальхену. Его собаки лучше других выдержали долгий путь.

Наконец и мы выбираемся на хорошо утоптанную дорогу. Радостный возглас «каккумэ!» несется со всех нарт.

И вдруг ударом нашей нарты о дерево прикончен прокопченный чайник Атыка. Отлетел медный носик. Мы долго ищем в снегу. Атык не расстается с чайником в дороге, как Тарас Бульба не расставался со своей трубкой даже в бою. Каюр без чайника в пути — это несчастный человек.

— Камака чайник! — печально объявляет Атыкай, найдя медный обломок. Впервые я вижу на его бронзовом лице такое сильное огорчение.

Речонка, узкая и извилистая, вывела нас на размашисто-широкую снежную дорогу. Мы на Малом Анюе, на одном из северных колымских притоков. Здесь просторно и привольно. Забыты пни и кочки. Конец мучительной езды. Кое-где чернеется на шиверах вода. Мальков говорит, что она не замерзает здесь даже в самые сильные морозы. Я уже готов к



тому, что, завидев воду, Коровья откроет небольшое собрание с единственным вопросом на повестке дня «пора чай-работать», и зря пропадет в пути еще один день.

Чай на Аное не варим, но Коровья все-таки затеял войданье нарт.

— Каккумэ! — восклицает Атык, обнаружив при войдании, что грядка нашей нарты сложилась в гармошку, сломана вдребезги и едва держатся кукули. Опять надо все заново увязывать.

Кончилось войданье. Тагам! Поехали!

Открылась остроконечная гора. За нею — Пальхен! Так уверяет Атык. Мы бежим рядом с нартами.

Атык показывает следы сохатых — лосей. Здесь их много. Жители питаются сохатиной, ходят в сохатиных прочных, теплых торбазах и конайтах.

Островное, — так значит Пальхен на карте. Некогда здесь поблизости была знаменитая ярмарка. Со всей Чукотки сюда раз в год доставлялись товары для обмена.

На ярмарку собирались и олениводы, и береговые охотники-зверобои.

В 1821 году в Островном побывал мичман Ф. Ф. Матюшкин — товарищ Ф. П. Врангеля по известному путешествию.

В 1929 году в Островное на пятисильном моторе пыталась проникнуть астрономическая партия одного из отрядов, обследовавшего реку Колыму. Но так до Островного она и не добралась. В устье реки Погынден исследователи заметили, что вода быстро убывает. Этот спад воды грозил катеру гибелью. Решено было отложить работы до лучшего времени...

Слышу щебетанье птиц. Откуда они здесь в перелеске? Что за птицы? Разглядеть не могу...

Треснутая полозина шуршит, царапает по льду. Атык останавливает нарты, прорубает топором лед близ берега. Воды для войдания вдоволь. Но Атык на всякий случай берет с собой полную фляжку про запас.

Такого трудного перевала мы, пожалуй, еще не встречали. Но при мысли, что скоро Островное, и тяжесть не в тяжесть.

Снег-уброд по самое колено. Каюры то и дело останавливаются, чтобы отдохнуть немного и сделать несколько ухающих вдохов, похожих на крики полярной совы среди ночи.

Передовые собаки дышат совсем тяжело. Заслышав «тааа!», сигнал остановки, они мгновенно падают на снег, обессиленные подъемом. Без остола их теперь не поднять.

Иду за нартами. Ноги налиты тяжестью.

— Кури нет! — говорит Атык. — Ненякай потерял трубка. Мури дал трубка Ненякай. Ненякай трубка прупал!

И Атык негромко смеется. Он отдал свою трубку Ненякаю, сам остался без курева и смеется, узнав, что Ненякай потерял и ее.

У меня еще осталась пачка папирос из судового пайка, которую я случайно захватил с собой в дорогу. Отдаю ее Атыку.

Все потонуло в полутьме. Гляжу на Атыка, у него пустые руки.

— Атык, где же твой остол?

— Мури дал Коровье.

Атык ничем своим не дорожит. Он готов отдать товарищу последние рукавицы.

Кстати, совсем недавно он прожег у костра свои белые лапковые рукавицы. Желтые полосы ожога на ослепительно-белом меху почему-то смешат Атыка, а ведь у него других рукавиц нет.

На очередном спуске Атык садится верхом на нарты. Я тоже сажусь верхом позади него. Надо слушаться капитана.

Собаки не мчатся, а летят, будто на крыльях. На полном, ходу, завидя впереди в вечерней сшей полумгле черный столб лиственницы, либо высокий пенек, каюр мгновенно соскакивает с нарт. Он сильным рывком за дугу отводит их в сторону от опасности. Даже на бешеном гоне он успевает следить за всеми собаками, окрикивает их по именам, особенно тех, которые мешают ходу нарты.

То влево, то вправо прыгает с нарт Атык, то ложится вдруг на снег во весь рост, цепляясь за дугу и волочась, взрывая своим телом пушистый снег; живой тормоз удерживает нарты от раската. Вот снова он верхом на нартах. Перед глазами мелькают стволы лиственниц, оголенных по-зимнему. Каждая из них сулила бы нам и нартам гибель, не будь Атыка.

Бешеный спуск окончен. Я ни разу не вывалился, ни разу не ударился о дерево.

— Хорошо? — спрашивает Атык, полуобернувшись ко мне.

— Очень хорошо!

— Атык хорошо? — переспрашивает каюр, как бы не довольствуясь моей первой оценкой.

— Атык — молодчина! Я напишу о нем книгу — большую бумагу, и все в Москве, где много-много больших-больших яранг, будут знать о замечательном мастерстве Атыка.

— Хорошо? — немного погодя, снова спрашивает меня Атык.

— Красиво! Красиво, Атык!

— Красиво! — повторяет за мной Атык. Красиво!..

«Красиво» — новое слово для Атыка, и он часто повторяет его, облюбовав как обнову.

Ночь...

Мы едва протискиваемся в толчее кочек, запорошенных глубоким, но мягким, пушистым снегом.

Если на минуту перестанут работать ноги мои и Атыка, мы вывалимся с нарт. Все время упираемся или отталкиваемся от разных препятствий. Все время помогаем нартам, поправляем ногами их ход.

Собачий поезд вытянулся вновь в кильватер.

Вдруг непредвиденная остановка. Отстали, оказывается, концевые нарты.

— Что будем делать?

— Будем искать товарища! В тундре людей не бросают, — отвечает Мальков.

Атык первый сбрасывает груз на снег, круто поворачивает собак и мчится обратно на поиски.

Таков закон тундры.

Может быть, ничего и не случилось, но в тундре не бросят человека.

Проходит несколько часов, и вот к нам несется упряжка с двумя десятками собак.

Атык едет на целой нарте, буксируя разбитую. Каюры сообща принимаются за починку. Работа спорится. И мы вскоре продолжаем путь.

Атык едет последним в караване, он щадит собачек. Рукавицами раздвигаем ветви хлесткого, запорошенного тальника. Морозно и темно. Ночь густая, темная...

Всматриваясь в ее черноту, не вижу даже Атыка, сидящего возле меня.

Мы отстали от каравана. Погода «морок», то есть, мрак, облачность до самой земли. И когда эта темнота совсем выела глаза, вдруг впереди, как вспышка магния, отчетливо загорелся и мгновенно погас огонь. Я подумал, что Атык закурил. Но табаком не пахнет. Слышу взволнованный голос каюра.

— Мыльхемиль? (огонь? спички?), — спрашиваю я его.

— Камака! (Смерть!), — отвечает Атык.

Он толкует, несомненно, о каком-то необычайном происшествии, которое, как я понимаю своего доброго спутника, не обошлось без злого духа...

— Уйна камака! Нет смерти! — говорю чукотским жаргоном, стараясь успокоить Атыка.

— Камака! — продолжает настаивать Атык и вдруг замолкает.

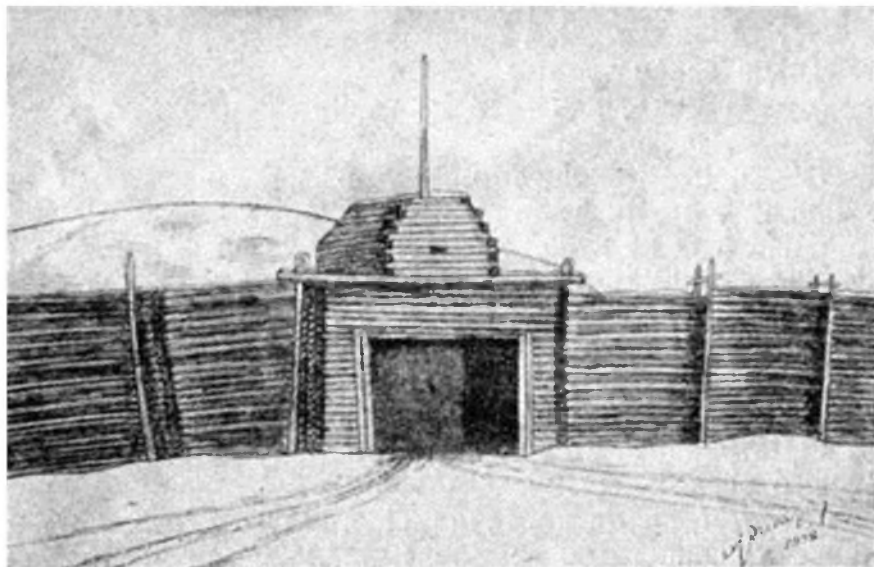
Он не хочет играть судьбой, молча закуривает папиросу, пристально смотрит при свете спички на меня.

С полного хода мы свергаемся с кручи на лед Малого Анюя. И Атык тревожно кричит:

— Пальхен далеко!

Бежим по Малому Анюю. На реке светлее, чем в тальнике и лесу. Свет от снега. Никого, ни единой души, ни вскрика совы, ни шороха куропатки...

Атык после огненного видения присмирел. Вдруг он останавливает собак и уходит без предупреждения. Так еще с ним не бывало... Я остаюсь один с собаками, среди безлюдья и тьмы, один, даже без остола.



## **Островное (Пальхен). Древняя Ануйская крепость**

Куда и зачем он ушел? Шарю по карте и нахожу ружье Атыка. Оно за  
грядкой. Но защищаться не от кого...

Каюр возвращается нескоро.

— Дорога нет! Там-Тама нет! Оленей нет! Атык нашел дорогу! Ванька  
неправильно поехал!

Следы мальковских нарт на Анюе завели Атыка в тупик. Он поверил  
Малькову и ошибся вместе с ним. Мальковские нарты здесь круто  
поворачивают назад. Мальков понял свою ошибку... Слышится атыковское:  
«каккумэ»! Чуть-чуть стало виднее...

Едем обратно и попадаем на след Там-Тама в протоке Анюя.

— Ёронг! Ёронг! — кричит Атык и машет рукой.

Но я не вижу ничего.

— Дым! Дым! Ёронг! Пальхен! — вопит радостно Атык.

Собаки прибавляют шаг.

Атык издалека почуял дым. Только через полчаса мы подъезжаем к  
воротам древней Ануйской крепости, поставленной почти триста лет назад  
казаками. Стены ее сложены из толстых бревен, обветшавших от времени.

Будто со старинной гравюры встает перед нами квадратная башня,  
удивительно похожая на одну из тех, которые некогда украшали московский  
деревянный Кремль — «Москву-град дубовый»... Не островерхая, а  
напоминающая усеченную пирамиду. В этой башне с каждой стороны по

одной узкой бойнице. Ворота не сохранились. Железные скобы сбиты и кем-то увезены...

Здесь несколько изб. В какую зайти?

— Заходите ко мне! — слышу приветливый голос.

— Кто вы? — спрашиваю я.

— Посмотрите на мою крышу, поймете и вспомните!

Смотрю и вижу антенну. Радист! И здесь радиостанция!

— Неужели не помните? Радист Попов! Мы с вами встречались осенью в Нижне-Колымске! Идемте, остановитесь у меня!

Следую за гостеприимным хозяином. Он вводит меня в просторную избу, заставленную приборами и аккумуляторами. Чисто подметен пол. Какое раздолье! Есть где выспаться на оленьей шкуре. А если будет холодно, — можно забраться в кукуль... Это не палатка и не душный полог!

Мы — в Островном, древней Анюйской крепости. Маленький поселок отстоит от Нижне-Колымска на двести пятьдесят километров. Малопосещаемые путешественниками места остались позади нас. От Островного пойдут более населенные земли. Мы уже не будем, как прежде, искать людей, так говорят нам островновцы.

Островное много лет назад играло большую роль в развитии хозяйства большого края. Здесь ежегодно происходила знаменитая островновская ярмарка. Подробное описание этой ярмарки дал мичман Ф. Ф. Матюшкин, один из участников путешествия флота лейтенанта Ф. Врангеля по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенного в 1820–1824 годах. Врангель включил в свою книгу о путешествии краткое извлечение из отчета мичмана Матюшкина о посещении им Островного.

При Матюшкине в Островном находилось до тридцати домов и юрт, разбросанных в беспорядке по селению. Крепость была обнесена забором, увенчанным надвратной ветхой башней. В середине местечка высились казармы — дом для комиссара с канцелярией и казаками.

Во время ярмарки все островновские дома и юрты превращались в своего рода гостиницы. Но большинство прибывших на торг размещалось на открытом воздухе, несмотря на сильные морозы. Кругом виднелись костры, козле которых грелись и жили прибывшие на ярмарку. По ночам ярко светились ледяные окна юрт и домов, огни костров и переливы северного сияния, представляя оригинальное зрелище. Картину дополняла многоцветная одежда съехавшихся на торг из разных краев тундры. Люди были в цветных камлейках, что делало еще более живописным северный пейзаж.

На сотнях лошадей прибывали сюда караваны с товарами русских купцов. Чукчи появлялись со своими товарами в Островном обычно в конце января или начале февраля. Ярмарка длилась не более десяти дней, и затем Островное замолкало и продолжало жить своей тихой и мирной жизнью.

Чукчи жили вокруг ярмарки своими станами, каждым станом управлял свой родоначальник.



Чукчи привозили с собой на ярмарку черных и черно-бурых лисиц, песцов, куниц, выдр, бобров, медвежьи шкуры, моржовые ремни и клыки, санные полозья из китовых ребер, мешки из тюленьей кожи.

Интересовались чукчи следующими русскими товарами: табаком, железными вещами — котлами, топорами, ножами, огнивом, иглами, медной, жестяной и деревянной посудой, а также бисером.

На ярмарку в Островное приезжали за тысячу и полторы тысячи верст не только чукчи, но и представители других соседних племен: юкагиры, ламуты, тунгусы, чуванцы, коряки. Лай собак, на которых прибывали в Островное с купцами и жителями Чукотки вереницы нарт, слышался издалека.

После сбора с чукчей соответствующей подати и торжественного богослужения и молебствия на башне крепости взвивался флаг, означавший официальное открытие ярмарки. Тут же после первого удара в колокол начиналась бойкая торговля. «Какая-то сверхъестественная сила схватывает русскую сторону, — писал в своем донесении Матюшкин, — и бросает старых и молодых, мужчин и женщин шумной беспорядочной толпой в ряды чукчей... Обвешанные топорами, ножами, трубками, бисером и другими товарами, таща в одной руке тяжелую кладь с табаком, а в другой железные котлы; купцы перебегают от одних саней к другим, торгуются, клянутся, перевозносят свои товары... Крик, шум и толкотня выше всякого описания».

Ценность обратившихся на ярмарке товаров Матюшкин исчислял на сумму 200 000 рублей.

После окончания ярмарки начинался разъезд по домам, в долгий иногда полугодичный путь на собаках или оленях.

«Островное опустело, — писал Матюшкин. — Свежий снег изгладил следы многочисленных посетителей. Тотчас явились стад голодных лисиц и песцов и в короткое время уничтожили все кости и остатки, валявшиеся грудами около жилищ и станов».

...В Островном мы с каюром пьем байховый чай, из обиходных черных чаев, любимых на Чукотке. Он кажется исключительно вкусным после кирпичного. Хозяйка угощает нас пышками.

Как давно мы их не видали!

Мальчишка лет пяти застенчиво выглядывает из-под занавеси, но, увидав бородатого приезжего, прячется вновь.

Я нахожу его, беру на руки, сажаю на колени, угощаю обнаруженной неожиданно в кармашке камлейки конфеткой и вспоминаю своего сынишку, которого долго еще не увижу.

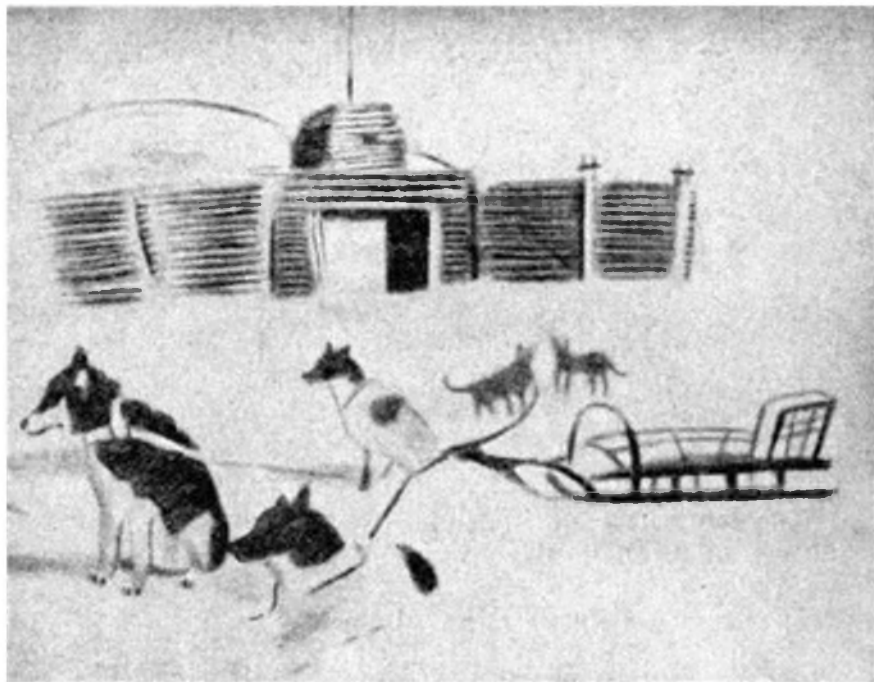
Островновские избы такие же, как и колымские, — без сеней, без двускатных крыш. Зимой холодный воздух вслед за каждым входящим клубами влетает в дом. Пока железная печка горит, возле нее тепло. Прогорели дрова, и ночью в избе чуть теплее, чем на улице.

Но как уютно в избе, пока трещат поленья. Давно не слышали мы этой приятной домашней музыки.

Сторож островновской школы-интерната чукча Иулькунт за год научился верно переписывать в тетрадь русские буквы и гордится этим. Его очень занимает процесс писания.

Меня Иулькунт расспрашивает о Москве, о Кремле, о товарище Сталине.

— Сталин — великий человек, — говорит он. — Сталин вместе с Лениным сделал Советскую власть. Он научил русских делать хорошо. Он вспомнил о ламутах и чукчах. Сталин прислал сюда лучших людей, чтобы научили нас строить советскую жизнь. Каждый, кто хорошо делает в тундре, того Сталин прислал к нам...



## После тяжелого пробега

В островновской школе-интернате учатся и живут дети кочевников-чукчей. Родители учеников откочевали вместе со стадами, а дети в заботливых руках учителей. Не все чаучу соглашаются расставаться на длительный срок с детьми. Поэтому вслед за стадами движется на нартах еще и передвижная школа.

Попову рассказываю об огне в тундре, он и сам близ Малого Анюя видел огонь — чудинку наподобие того, как мы с Атыком. Что это такое — не знает. Вспыхнуло, погасло и больше ни разу не повторилось...

В Островном несколько дней не всходит солнце. Поселок зажат между горами, и они скрывают зимой солнце. Пожалуй, полярная ночь здесь тянется дольше, чем в Певекском многолюдье.

На прощанье мне советуют:

— Оденьте кухлянку сверх кукашки! Иначе замерзнете! Километров сорок-пятьдесят ехать рекой! А на Анюе всегда ветерок! Прохватывает сильно!

«Прохватывало» так, как еще ни разу от самого Певека.

Очередная ночевка была в лесу. Мы накидали ломкие ветви на примятый снег, бросили на них олени постели и кукули и залегли спать под звездным морозным небом. Было немыслимо тихо кругом. Мне вспомнились слова помора Григория Кузнецова, новоземельского промышленника:

— Такая тишина бывает у нас на Севере, что и ушам больно!

Утром лес предстал во всем своем праздничном великолепном наряде, торжественно опустив ветви, отягощенные снежными куржаками.

Собак кормим мороженой кровью, оленьего мяса нехватило.

Вторую ночь провели у чукчи Урыгыргина. Это — последнее чукотское стойбище на нашем пути к западу.

И через двадцать дней после выезда из Певека мы в последний раз, и не без грусти, садимся за камитву в последней на нашем пути гостеприимной чукотской яранге. И хотя еще недавно мы совсем не знали друг друга, теперь каждый из нас ощущал одно и то же: расстаемся с большими друзьями, с настоящими людьми, любящими свою землю, свой край, свою Родину.

У хозяина яранги берем корм для собак до самой Пантелеихи. Оттуда до «крепости» — до Нижне-Колымска один лишь перегон. В Пантелеихе много рыбы — прекрасного корма для собак и людей.

Едем до ближайшей поварни. Даль утверждает, что поварня — это кухня, стряпная, приспешная, где готовят кушание. На Севере поварней называют любую избу, которую ставили на тропе, чтобы проезжие люди, захваченные в пути непогодой, могли остановиться здесь, поспать, подкрепиться пищей. Одни говорят, что до поварни тридцать верст, другие — сорок пять. Не знаем, что это за версты: длинные или короткие?

Хозяйка любезно угощает нас. Сама она не пьет чаю, но внимательно следит за гостями. Едва у кого опорожнится блюдце, хозяйка торопливо наполняет его из дымящегося чайника.

Спим в последний раз в чукотском пологе.

Я опрометчиво позабыл рукавицы за пологом, и они задубели за ночь от мороза.

Долго разминаю их, прежде чем надеть на руки.

В поварню мы не попали. Впереди ехал Там-Там с тремя чукчами на оленных нартах. Где-то вблизи семья Там-Там кочует с небольшим стадом.

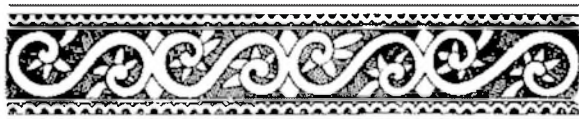
Мы прощаемся с Там-Тамом под вой собак. Они каждую минуту готовы сорвать нарты с приколов и броситься на оленей. Каюры едва удерживают их от драки.

Ламут-проводник, уезжая с Там-Тамом, кричит нам по-чукотски. Атык переводит мне:

— Дорога есть! Колыма прямо и... спать!  
Мы уже совсем недалеко от Колымы.



# На Колымской земле



Позади остались красивые островерхие горы, будто высеченные из белого мрамора и упирающиеся в самое небо.

Чем ближе Колыма, тем приветливее улыбка Атыка. Скоро конец долгому совместному путешествию на-проходную. Около тысячи километров проделали нарты, петляя по тундре в поисках корма для собак, в поисках чаучу. По Тан-Богоразу точный перевод слова «чаучу» — «богатый оленями». Чаучу это оленный чукча-кочевник в отличие от анкалина, берегового, безоленного чукчи-охотника на морского зверя.

Свое каюрство Атык не считает трудом. Такой труд для него удовольствие. Он любит трудиться и трудится весело. Я редко вижу его мрачным. Он сидит, держась одной рукой за дугу, и без конца поет. Поет о том, что вот скоро приедет в Крепость, достанет там много корма для собак, купит росомуху для жены, которая ждет и не дожидается Атыка. Увидит она подарок и удивится, ласково: — Каккумэ!

Каюры радуются, что скоро Крепость, но, осматривая на каждой остановке лапы собак, сокрушенно качают головами. Уж очень иссушились псы. Доберемся ли на таких до места?

И все же во время бега собаки по-привычке поворачивают голову к каюру, чтобы узнать, не прогневался ли хозяин, не нацелился ли он остолом в кого-либо из них? И стоит только Атыку помахать остолом, угукнуть грозно, как вся упряжка с еще большим усердием натягивает алыки. Независимо держится один лишь передовой Эспикр. В нем нет собачьего раболепия. Он смотрит на Атыка, будто говорит хозяину: — А ну поищи на Чукотке еще такого?

Серебристо-серой окраской, черной полосой на спине и стоячими ушами Эспикр напоминает полярного волка. Может быть в Эспикре и течет волчья кровь, кто это знает, — здесь же еще не записывали собак в родословную книгу...

Атык ценит достоинства Эспикра. При дележе корма на стоянках ему бросает самые жирные куски. Эспикр честно делает свое дело и не боится наказаний потому, что не заслуживает их. Хорошая, работающая, умная собака понимает хозяина с полуслова, знает каждый его жест.

Скоро мы покинем пределы Чукотки, полярного форпоста Советского Союза. Близка граница Якутии.

Возле меня уже не будет милого Атыка, верного спутника, знатока здешних мест. Но наверное я никогда не забуду его монотонной протяжной песни, детского заразительного смеха, его обожженных кострами натруженных рук...



Мы ложимся спать, не доезжая поварни. От костра пахнет пряной смолой лиственниц. Сплю на нарте, в кукуле. Мороз — сорок градусов. В кукуле от дыхания образуется корка льда. Ноги в чижках и торбазах. Встаем рано, разбуженные холодом. Утро лунное, будто совсем и не кончалась ночь. А может быть и в самом деле она только начинается... Но часы говорят, что утро наступило, и мы после короткого чаепития едем вперед.

Двадцать с лишним дней мы кружили по безвестным рекам и горам, в тундряном лабиринте, закрытом снегами.

Наши чемоданы полны писем моряков, оставшихся на зимовке. После того, как на кораблях погасили котлы и перестало работать судовое радио, мы на «Большой земле» будем первыми вестниками с кораблей. Правда, флагманский радист налаживает движок, «Литке» скоро вновь заговорит.

Всюду, где проезжают наши нарты, мы слышим одно и то же: «какие новости?» (Или, как здесь говорят, «нобости»). Быть может потому и любят здесь проезжих, что у каждого всегда есть запас свежих новостей. Проезжий — это живая газета в тундре и тайге.

Рассказываю о пуске Днепростроя (как раз в тот год Днепр впервые дал промышленный ток), о новой электрической станции во Владивостоке, о новых школах и вузах, об успехах первой сталинской пятилетки.

Вместо Ивана Малькова, оставшегося в Островном, с нами едут каюры-колымчане — Яша и Пантюшка Мухины, живые, веселые, черноглазые, как и все здешние люди. Яша в ватной тужурке, без кухлянки, бежит все время за нартой «марафонским» бегом. Он смотрит на свое путешествие в Крепость, как на обычную прогулку, и даже не захватил с собой меховой одежды. Бег согревает его, и человек не знает усталости. На каждой стоянке Яша Мухин затевает спор, доказывая, что один съест пол-оленя, если кто согласится вступить с ним в пари. Пантюшка тоже ищет спорщика, который бы не поверил в его способности — съесть на свежем воздухе в один присест половину оленя. Но с Мухиными никто не спорит: жалеют и себя и пол-оленя...

Яша Мухин останавливает упряжку.

— Дорога уйна! Нет дороги! — объясняет мне Атык.

Он тоже стопорит нарты остолом и отправляется вместе с каюрами искать дорогу. Идут, пригнувшись к земле, словно крадутся к оленям, держа в руках аркан.

Яша Мухин уходит далеко от каравана. При нем нет оружия. Зверя он не боится. Он говорит: «Волк боится напасть на человека. Только бешеные волки нападают... Неужели же я такой несчастливый, что встречаю бешеного?»

Мы проехали совсем недолго, и дорога снова затерялась. Ее перемело. Кругом глубокий снег. Танатыргин сокрушается: одна его собака пала ночью. Ненякай печально сообщает, что у него к ночи падут две собаки.

Вот, наконец, и поварня! О ней так много говорили в Островном. Доедете до поварни, отдохнете, расположитесь как дома!.. Но это изба без окон, без дверей и даже без крыши. Одни только древние стены. Поварня

забита снегом и спать в ней все равно, что в лесу. Перекладыны, на которых держалась крыша, давно обрушились. Прорези окон пустыми глазницами угрюмо смотрят на нас.

Пантюшка Мухин все же рекомендует задержаться здесь и выставить ему пол-оленья на спор в триста рублей. Но с ним никто не желает спорить, все верят и так в его способности.

Вдруг собаки неистово залаяли, очевидно, увидели оленей, зайца или сову. Зря лаять не станут.

— Кухх! Куххх! Куххх! — слышатся командные крики передних каюров, и нарты нашего каравана берут влево.

— Кулыма нарта поехал! Кулымские нарты! — поясняет Атык.

Кто-то едет с Колымы. Вот хорошо! Это значит, что мы пойдем по их следу, собакам будет легче. И каюры довольны встречей. Небольшая остановка, короткий разговор, а главное: узнаём, какая дорога впереди?

— Дорога хорошая! — уверяют нас встречные. Это сообщение вмиг облетает весь караван.

Едут двое на двенадцати собаках. Одеты легко, не по-нашему. Но, правда, их путь короток, — всего лишь до Островного. Один из проезжих, высокий человек, у которого из обледеневшей опушки малахая виднеются только глаза и кончик розоватого носа, — здоровается с нами, как со старыми знакомыми. Кстати, за три недели нашего путешествия из Певека это — первые встречные люди. Они едут из Нижнего в Островное, на работу в Союзпушнине.

Узнаем, что до Пантелеихи еще километров тридцать пять. Атык радуется: «Пантелеиха рыбка есть! Мури, возьми!» Ему нечем кормить собак, и он мечтает купить для них рыбы.

Обрадованы и встречные люди. Они для нас, а мы для них проложили путь в снегах. От агента узнаю, что оленные караваны с грузами уже идут в Островное из Амбарчика, с берега Ледовитого океана, где разгрузились наши пароходы, пробившиеся к устью Колымы сквозь льды. Встречные хвалят советских моряков, сделавших большое дело.

Атык уважительно вспоминает о морских кораблях.

— Товарищ Сталин послал пароход, много пароход! — говорит Атык.

Снова слышится: Угууу!

Собаки натягивают алык. И через пять минут новое: Угууу!

— Мури собака плохо! — говорит Атык.

Атык останавливает нарты и спускает передового Эспикра. Эспикр быстро отделяется от упряжки и бежит вперед. Тогда с лаем и визгом за ним, прибодрившись, несутся остальные псы вместе с нартоми. Такой прием каюры применяют, чтобы подбодрить уставших собак. И в самом деле, они бегут за Эспикром словно за тренером.

Ночью мы в Пантелеихе, на притоке Колымы. Сушимся, пьем чай и едим свежий хлеб.

Останавливаемся у заведующего факторией. Я впервые вижу русского, который с таким искусством пользуется интонациями трудного для

произношения чукотского языка, он как чукча прищелкивает и пришепetyвает, говорит с такими же запевками и придыханиями и также переходит к страстному удивленному шопотку, будто аукается, обрывая фразу на высокой ноте.

Вареный омуль и строганина из нельмы лежат горками на столе и дразнят аппетит.

На ночь хозяин укрывает меня широким одеялом из двадцати недопесков, а сверху того еще невесомым одеялом из заячьих нежных лапок. Жарко, как на печке.

Мне снятся оленные нарты, идущие из Амбарчика в Омолой и Пятистенное, через хребты и реки, от ледяной границы моря, куда пробились с грузами пароходы. Каюры в тальниках речного берега жгут костры. Десятки, сотни нарт движутся по тундре, прокладывают дорогу грузам, прибывшим из-за моря.

Едва рассвело — мы уже на ногах. Каюры перевязывают нарты, расстилая на них кукули и оленьи шкуры, чтобы мягче было сидеть.

На Колыму выезжаем ночью. Я не вижу градусника, но и без него ясно, что уже за пятьдесят ниже нуля. Дышать можно только внутри кухлянки. Иначе ветер нещадно хлещет в лицо.

Ночью не видно широкой Колымы. Впотьмах она кажется бесконечной, как море. Собаки бегут из последних сил, чуют скорый роздых.

— Колыма! Колыма! — кричит над самым моим ухом Атык.



## Перед кормежкой

Высовываю голову из кухлянки. Мороз обжигает щеки. Но радостно видеть манящие вдаль огоньки. И невольно вспоминается Короленко... Сколько огней! Мы давно не видели такого селения. Это Крепость! Нижне-Колымск! Он кажется большим и даже огромным. А ведь в нем всего только тридцать девять домов... Стало теплее при одной мысли, что впереди городок и несколько минут всего отделяют нас от встречи с людьми, от жилья и горячего чаю, который вернет нам утраченное в пути тепло. Цепь огоньков далеко протянулась по снежному левому берегу Колымы. Сутулые колымские плоскокрышие дома светятся сквозь льдины, вставленные в прорези окон вместо стекла. Мы вскакиваем с нарт, бежим за ними, радостно ловим мерцающий робкий свет.

На берегу шелестит тальник. Жалобно воют местные многочисленные собаки. На улицах городка темно и безлюдно.

Вдруг кто-то кликает меня. Я удивлен этой встречей, Оказывается это комсомольцы-метеорологи, с которыми я познакомился в прошлом году во время поездки по Колыме. Узнаю у них, что сегодня температура воздуха:  $-46^{\circ}$ .

В тесных каморках Нижне-Колымской гидрометеостанции, кроме метеоролога — комсомольца Штейна, живет семья начальника станции Якушкова и женщина — геофизик. В железных печурках трещат поленья. И все-таки от ледяных окон веет холодком. Холод заметно струится от стен и дверей. На бревенчатых покрытых инеем стенах висят диаграммы, кривые температур за последний квартал года и «розы ветров» с причудливыми «лепестками». По всему полярному берегу, на мысах, где зимуют метеорологи, в занесенных снегами землянках и избушках висят «розы ветров», вычерченные посланцами советской науки. Ледяная тропа, проложенная советскими судами в северных морях, усеяна этими «розами».

Над столом портрет товарища Сталина.

Атык смотрит на него и говорит:

— Это самый большой человек на земле! Сталин — Солнце!

В комнате начальника станции портрет Ленина.

Атык говорит:

— Это Ленин! Ленин — Солнце!

Атык знает, что Ленин вместе с товарищем Сталиным прогнали богачей и их приспешников. Атык и каюры-чукчи знают: Ленина больше нет. На Большой Земле остался Сталин: его товарищ, великий человек! Это он послал корабли к берегам Чукотки. Он хочет, чтобы лучше жилось в тундре и на морском берегу.

Ночь. На метеостанции скупое, с приспущенным фитилем, светит керосиновая лампа. Она могла бы гореть и поярче, но в Нижне-Колымск еще не доставлен керосин из Амбарчика, и пока следует экономить остатки запасов.



Комсомолец-метеоролог Штейн согнулся над столом и что-то чертит. Оказывается, это — опять же «роза ветров». Она получается не совсем красивой. Штейн винит в этом Восточно-Сибирское море и его постояльцев — ветры норд-остовой четверти. Это они-то и дают «розу» с вытянутыми лепестками.

Утром я слышу, как Якушков чиркает спичкой и тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить гостей, подходит к анероиду. Я спрашиваю шопотом:

— Сколько времени?

— Без пяти семь.

На завтра Штейн осторожно чиркает спичкой и тоже идет к анероиду. Я спрашиваю и его, сколько времени, и он отвечает то же самое: — Без пяти семь.

Несколько дней я наблюдаю их честную точную и преданную работу.

На следующий вечер в Ленуголке кинофильм: «Булат-Батырь». Картина из времен Пугачева. После кино бреду от клуба к метеостанции краем всего Нижне-Колымска. В темноте никак не нащупать потерянную тропу, выбитую здесь пешеходами и нартами. Часто проваливаюсь в снег по колени. Наконец, я на тропке. И тогда, в черноте тальника, которым, как забором, затянут берег широкой Колымы, я ясно вижу мерцающий огонек. Он движется. Кто-то идет с фонарем. Это — Якушков. Он ходил на Колыму замерять уровень воды и ее температуру. Если пришел «срок», нипочем для него мороз, пурга, хлесткий ветер. Укутается шарфом так, что открытыми остаются только глаза, и идет выполнять свой долг.

Домики, отстоящие друг от друга, кажутся высеченными из льда. Над каждым домиком столбом стоит белый дымок, выходящий из трубы. Над всеми тридцатью девятью домиками Нижне-Колымска стоят эти столбы, как опознавательные знаки большого мороза. Они напоминают мачты кораблей, до которых немыслимо далеко.

Слышен скрип полозьев и хруст снега. Слышится сюсюкающая, колымская речь потомков тех, кто пришел сюда, быть может, еще с кочами Стадухина...

Первым, кто сообщил о пути из Якутска в Колыму, был казак Михаил Стадухин. В 1641 году он отправился на «Емоконь» (Оймекон) для ясачного сбора. Построив на Индигирке кочь, Стадухин сплыл на нем с казаками до моря и пошел далее на восток. В низовье Колымы на левой, так называемой Стадухинской протоке, недалеке от теперешнего Нижне-Колымска, он поставил ясачное зимовье-крепостцу, обнесенную частоколом. Протока эта обмелела, и позднее селение передвинулось на новое место, что верстах в двадцати от старого, как раз против устьев Анюев, впадающих в Колыму близко друг от друга. Однако название «крепости» так и осталось бытовать на Колыме.

Был на Колыме лейтенант Дмитрий Лаптев. Он соорудил на Толстом мысу близ устья Колымы грузную деревянную пирамиду, служившую опознавательным знаком. Она и поныне известна под названием «Маяк Лаптева».



Были на Колыме знаменитые русские моряки Ф. Врангель, Ф. Матюшкин, И. Биллингс, Г. Сарычев, Г. Седов.

В 1909 году Седов описал устье и бар Колымы и соорудил здесь приметные знаки.

Колымскими таежными тропами ходили революционеры, сосланные сюда царской властью на погибель. Их помнят старожилы. Многие не выдержали суровой жизни на положении ненужных людей. В колымской избе вместо тюремной решетки на окнах были вставлены льдины, а взамен высокого забора с колючей проволокой беспредельно лежала тайга, из которой не выбраться и самому смелому беглецу.

Но не было сил, способных при старом строе проложить путь культуре на колымские берега. Каюры мужчины рассказывают, что их родители боялись отдавать детей в школу. Старая Колыма не знала просвещения.

Епервые в 1931 году на Колыме появился, смело приведенный с Лены, пароход «Ленин». Край начал пробуждаться. И о многом говорит то, что колымские каюры стали оставлять в дорожных листах свои подписи-автографы. Только старики еще ставят взамен подписи печати или крестики...

Атык на прощанье занимает меня рассказами.

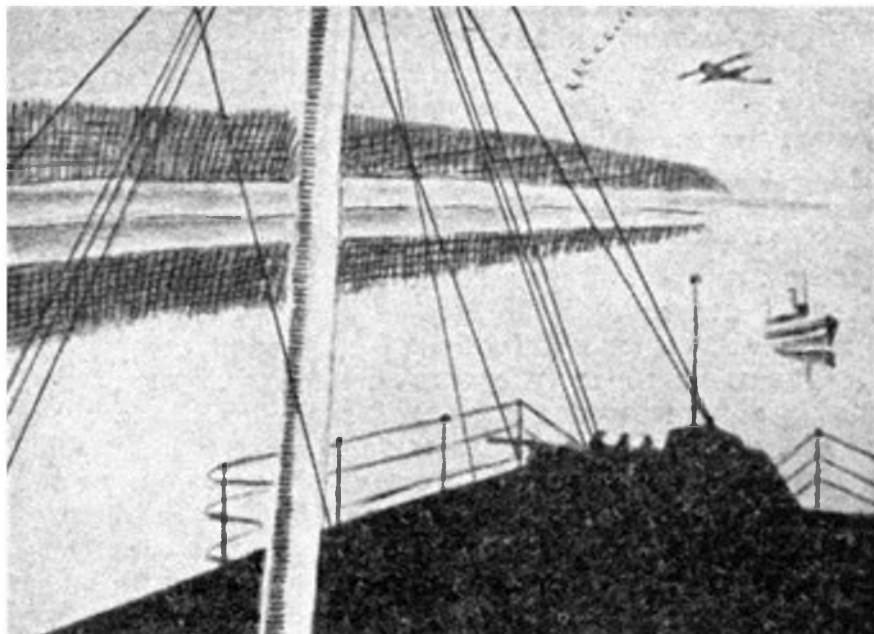
Он купил росомаший мех и счастлив. Подарок любимой жене Атык показывает каждому встречному. И еще он купил новую нарту и капканы... Сушеную рыбу каюрам отпустили счетом до Сухарной заимки. Там много собак и много собачьего корма.

Утром каюры собираются у метеостанции, чтобы попрощаться с нами. Я передаю Атыку письмо к Козловскому.

— Прощай, Атык! Спасибо тебе за каюрство! За дружбу! Счастливого пути, человек Севера! Спасибо, дорогой товарищ по трудной дороге!

И Атык в ответ крепко жмет мне руку и тоже говорит спасибо. Еще в пути я заметил, что некоторым русским словам Атык придает особый смысл. «Спасибо» Атык понял как конец дела, конец путешествия, но никак не иначе. Он знает, что у русских принято благодарить не в начале, а только в конце работы. Напившись чаю где-нибудь у костра, я возвращал Атыку его кружку и говорил «спасибо». Это значило, что закончено чаепитие. Спасибо, — это для Атыка слово, завершающее действие.

— Спасибо! — сказал мне Атык на прощанье.



## **В низовой Колыме на колымском первенце — пароходе «Ленин»**

Один из метеорологов пригласил всех к столу. Отказываться невозможно: подана сельдьятка. Мы было спутали ее с селёдкой, но колымчане, улыбаясь, объяснили, что сельдей нет на Колыме. Сельдьятка — небольшая рыбка из породы сигов, ее очень много на Колыме, и она замечательно вкусна. Я впервые встречаю такую нежную рыбу. Сельдьятка — слово колымское, на других реках его не слышать.

Нашлось у метеорологов для прощанья с каюрами и по стопке водки. Я спросил Атыка:

— Сколько будешь ехать обратно до Певека?

Он стал считать по пальцам.

Чукчи вообще ведут счет по пальцам. Рука это пять, две руки — десять, пятнадцать — хромой человек, кляуль (человек) — двадцать (то-есть, двадцать пальцев). Считать, по-чукотски — «пальчить».

Атык ответил, что через десять дней будет обратно в Певеке. Он еще раз попрощался, вышел из дома и, весело крикнув «Тагам!», схватился за дугу, побежал рядом с нартой, больше не оглядываясь.

За Атыком тронулись остальные.

С последней нарты долго махал рукавицей комсомолец — горячий Рольтынват.

Уехал настоящий человек, знаток тундры, следопыт и бесстрашный охотник, мастер нартяной езды, замечательный каюр. И мне стало грустно.

Не скоро получит Атык теперь своего Матау, оставленного в тундре. Когда-то заглянет еще в тундру с морского берега?

Каюры решили ехать не тундрой, а морским берегом, в Сухарной заимке они возьмут корм для себя и собак, чтобы затем пробираться на-проходную в Певек, к родным ярангам. Там, в Певеке, когда солнце, победив полярную ночь, взойдет над горами, моряки снимут деревянную обшивку с бортов пароходов. Из досок они обещали выстроить большие дома для Райисполкома и школы-интерната. А корабли уйдут на восток...

Ожидая оказию, знакомлюсь с жизнью Нижне-Колымска.

Городок без улиц, дома с пологими крышами, крытыми землей, речной порт без намека на пристань. Даже мировая война 1914–1918 годов не коснулась этого дальнего угла страны. Колымчан не брали в солдаты, а революция по-настоящему пришла сюда с огромным запозданием, когда по Советскому Союзу рабочие и колхозники уже досрочно заканчивали выполнение первой сталинской пятилетки.

Осенью здесь «бежали» все дома, как говорят колымчане. «Бежали» дома означает по-колымски, что во время осенних проливных дождей текли плоские крыши всех домов. Все ждали зимы как милости природы: тогда морозы на много месяцев надежно «починят» крыши. И в самом деле, пришла зима, засыпала крыши снегом, снег сковал мороз, и дома перестали «бежать».

В городке выходной день. По зимней заснеженной Колыме бегут нарты. Это катают детишек, забавляют их доступным здесь развлечением.

За зиму пятая почта пришла в Нижне-Колымск из Среднего. Собаки доставили ее на нартах.

Во времена островновской ярмарки оживали некогда городки Колымы — Средне-Колымск и Нижне-Колымск. Через эти городки лежал путь купцов из Якутска в Островное на ярмарку. Два десятка купцов прибывали с вьючными караванами. У каждого купца было под вьюком от десяти до сорока лошадей. Торг производился купцами и по пути в этих колымских городах. За чай, табак и особенно за водку купцы выменивали у местных людей высокоценную пушнину. С отъездом вьючных караванов вновь замирала жизнь колымских городков...

Мы застали в Нижне-Колымске сонную зимнюю жизнь. Короткий день, похожий на поздний вечер, сменялся быстро долгой ночью. Мы не видели здесь восходящего солнца. И единственной нашей радостью была баня. Но иона оказалась по-северному своеобразной. Из большого чана шел облаком пар от кипящей воды и тут же из-под пола клубился холодный воздух, дувший из всех щелей. Ноги наши были на «полюсе холода», а головы... на «экваторе». Однако и этой бане мы были бесконечно рады после двадцатидневного пребывания в дороге по тундре и северной тайге.

В Нижне-Колымске говорили о том, что городок обветшал. Он хорош был для царской России. В советской стране это — пережиток старины. Уже возникают новые города. Нижне-Колымск заменит Кресты Колымские, а

пальму первенства на северной Колыме отберет у Средне-Колымска новый город, затон Лабуя, где будет отстой нарождающегося колымского флота.

Колымские города отпразднуют свое новоселье. Колыма, с ее таежными берегами, уже огласилась гудками своих первых пароходов, и они разбудили этот край, прокричали на всю Колыму призывное: «тагам!».

Каждый день кто-то проезжает мимо Нижне-Колымска или отправляется из него.

Каждый день слышится под окнами собачий лай и крики: «Подь-подь!» и «Куxxx!».

Колыма — это большая зимняя дорога к новостройкам — новым портам и поселкам...

— Чаю не успеешь напиться, а трактор уже за дровами съездил, — рассказывают приезжие об этих новых селениях.

Идут по Колыме разговоры про первые колымские тракторы, про первые колымские пароходы... О них говорят восторженно, как о диковинке. Это, пожалуй, посильнее колымских чудинок. Это советские чудинки на краю мира.

Год назад мне удалось увидеть в нижнеколымском кооперативе шеренги стеклянных ламп, некогда доставленных сюда американскими дельцами. Эти лампы, очевидно, еще в XIX веке не находили сбыта в Штатах и были сплавлены на Колыму за полной непригодностью для обмена на высокоценную пушнину.

Я видел в кооперативе американские бусы, подобные тем, на которые бизнесмены выменивали золото у индейцев. Их тоже янки доставили сюда.

Еще в конце XIX века американцы отыскиали дорогу к Колыме...

Прослышав о богатствах колымской земли, сюда потянулись искатели легкой наживы и контрабандисты. Из года в год к устью Колымы пробирались американские вельботы. Так же, как на Чукотке, предприимчивые янки обманым путем, за бесценок, выменивали у прибрежного населения пушнину и попутно разузнавали путь к колымскому золоту. Пиратской базой служили берега Аляски.

Одну такую шхуну в 1920 году вблизи острова Колючина встретил Амундсен во время северного плавания на корабле «Мод»; Амундсен писал об этой встрече:

«Мы встретились с американской шхуной «Белинда» из Номе, которой вчера удалось обогнуть находящийся впереди нас мыс, идя в прибрежной прогалине, шириной всего лишь в несколько метров... Трое человек с этой шхуны: капитан, машинист и пассажир, приехали к нам на «Мод». Капитан шхуны Кастель, голландец, много плавал на американских судах, промысляющих моржей, и участвовал в экспедиции Стефанссона... Шхуна направлялась в Чаунскую губу. Кастель рассказывал, что вслед за ним шло много маленьких суденышек, стремящихся на Колыму».

Многие из таких «маленьких суденышек» платили гибелью за свою авантюру. Но жажда наживы была сильнее страха перед льдами. Даже в



наше время у наших берегов находили свой бесславный конец любители чужого добра. В 1919 году у берегов Колымы льдами раздавило шхуну «Бельведер», в 1922 году шхуну «Игл», в 1929 году близ мыса Биллингса погибла шхуна «Элизиф». В 1930 году раздавило льдами шхуну «Нанук», после чего плавания американцев к устью Колымы навсегда прекратились.

Любители чужих богатств, разведчики американских спекулянтов и контрабандистов, пробиравшиеся к северным параллелям России, нередко маскировались под безобидных «исследователей». Так, например, американец Корен<sup>[5]</sup> собирал на Колыме... Коллекцию розовых чаек. Он женился в Нижне-Колымске, а затем уехал, бросив там и жену, и розовых чаек. Коллекцию Корена вывезла впоследствии экспедиция Амундсена, зимовавшего в 1919–1920 годах у острова Айон.

До сих пор старожилы на Колыме помнят экспедицию англичанина Гарри-де-Виндта и его помощника виконта Кленшана-де-Бельгара, воспитанника иезуитской школы. Экспедиция этих двух господ была отправлена в Колымский край американским синдикатом, который задался целью провести трансаяскинскую железную дорогу через Северную Америку, Берингов пролив, Колымский край до Якутска, а затем дальше на запад. Для соединения железных дорог предполагалось построить паром, он должен был перевозить железнодорожные составы с континента на континент через Берингов пролив. Высказывались предположения о прокладке туннеля под Беринговым проливом. Биржевики составили акционерную компанию, развели вокруг своей затеи рекламу и под этот шумок выпустили в Америке акции «Трансаяскинской железной дороги». Благодаря рекламе акции были раскуплены, что повело потом к разорению большого числа доверчивых акционеров.

Помимо грабежа легковых людей, вся эта затея имела и другой смысл: американские железнодорожные короли (одним из них был отец небезызвестного Гарримана) рассчитывали под предлогом постройки железной дороги проникнуть на северо-восток России и прибрать его богатства к своим рукам.

Среди царских чиновников высокого ранга нашлись продажные лица, активно помогавшие американцам в их аванюре.

Гарри-де-Виндт был снабжен проездным листом «три пера». К листу сургучом были припечатаны три гусиных пера, что означало государственную важность проезжающей персоны и обязанность населения оказывать таковой всякое содействие и готовить вне очереди оленей или собак по первому требованию. Впереди нарт Гарри-де-Виндта следовал специальный нарочный. В проводники англичанину и виконту дали казака Расторгуева, участника знаменитой экспедиции геолога Толля. «Знатные иностранцы» пробыли в Средне-Колымске несколько дней и затем на собаках добрались до Берингова пролива. Это подозрительное «путешествие» легло большой тяготой на якутов и чукчей, с ними так никто и не расплатился за прогон оленей и собак, за гибель многих собак, которых на пути следования загнал иностранный прожектор.

---

<sup>5</sup> Прибывший на шхуне «Киттиуэйк» в 1911 г.



Бывали в Средне-Колымске и знатные русские люди. Но все они прибывали сюда совсем не по доброй воле...

Первым в 1744 году в Средне-Колымск прибыл русский вице-канцлер внутренних дел граф Михаил Гаврилович Головкин — вельможа двора Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, сын петровского министра, первого президента коллегии иностранных дел. По совету М. Г. Головкина, Анна Леопольдовна собиралась объявить себя императрицей, но ей помешал дворцовый переворот. На престол вступила Елизавета Петровна, дочь Петра Первого. Не считаясь с тем, что Головкин был в родстве с ее домом, императрица приказала арестовать вице-канцлера, его судили и приговорили к смертной казни, как государственного преступника. Потом смертный приговор был заменен ссылкой.

Граф Головкин прибыл в Средне-Колымск вместе со своей женой Екатериной Ивановной, урожденной княжной Ромодановской. Елизавета Петровна считала Головкину непричастной к преступлениям мужа и сохранила за ней звание придворной дамы со всеми привилегиями. Но Головкина ответила царице: «Любила мужа в счастье, люблю его и в несчастье, и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно».

Два с половиной года добирались Головкины из Петербурга до места ссылки. Четырнадцать лет прожили они в Средне-Колымске. Граф умер. Жена, залив воском тело покойного, выехала в Москву, чтобы там предать земле останки провинившегося вельможи.

Поселение Головкиных в Средне-Колымске положило начало ссылке на Колыму неугодных царскому правительству лиц.

Как доносил в Петербург прапорщик Пальмштруг, приставленный к Головкину для наблюдений за ним, жизнь в Средне-Колымске в те времена была невыносимой.

Пальмштруг писал: «Здесь жителей весьма малое число, и питаются токмо одною рыбою, а иногда, по времени, бывает рыбы недолов, как и сего году, то и жители терпят голод и едят сосну<sup>[6]</sup>. А арестантам, яко непривыклым людям, то снести невозможно. К тому же и рыбою удовольствоваться в неуловное время не можно...».

Проходили годы, а жизнь на Колыме мало изменялась.

Названия многих колымских мест, сохранившиеся с дореволюционных старинных времен, сами говорят о себе: «Кресты», «Могильный», «Убиенное», «Погромное», «Походское...».

Не изменился и климат с того времени. Не стало теплее в Нижне-Колымске. Те же пятидесятиградусные морозы, те же слепящие пурги, те же штормы и туманы, что были много лет назад. Но сколько ныне нового в этом суровом крае. На безлюдных прежде берегах раскинулась сеть радиостанций. Строятся здесь и рудники, и многолюдные поселки. «Натура» Севера отступает перед человеком, выполняющим план, начертанный великим Сталиным.

---

<sup>6</sup> Надо полагать: толченую кору лиственницы. — М. З.

От амбаров и складов Амбарчика расходятся караваны грузовых нарт. Идут с грузами и олени, и собаки, и лошади. Лошади здесь лохматые, необычные, обросшие густой шерстью — защитой от стужи.

Вторую неделю подряд держатся сорокаградусные морозы. Но такие температуры не считаются здесь лютым холодом, они не препятствуют нормальному ходу жизни и работы. Дети продолжают веселой гурьбой ходить в школу, после уроков они катят на нартах в тайгу за дровами. Дни сумеречные, короткие, ветреные. Ночи длинные, ясные, звездные. Солнце почти не показывается над горизонтом. Но днем, часа два-три, можно у окна почитать газету, не зажигая лампы.

С утра за правым берегом Колымы вырастают крутые горы. Их не было вчера. Они высятся до самого вечера. Ультрамариновые вершины манят тайной неведомых горных хребтов. Погас короткий день. Исчезли горы за Колымой. Это была лишь рефракция — причуда преломления световых лучей в воздушной среде. Благодаря рефракции, высота обычных предметов кажется подчас гигантской, и маленький бугорок вырастает в горный кряж. Рефракции нередко тешат взоры колымчан самыми необычайными пейзажами.

Да разве мало тут и других неожиданностей. С удивлением узнаю, что на радиостанции завелись горностаи. Они живут под полом машинного отделения. А в прошлом году стая белок пришла сюда из тайги. Быть может, палы (пожары) выгнали их из тайги. Несколько белок забрались на радиомачту. Когда вахтенный по уборке помещения выливал осенью помои, с соседних озер слетались к радиостанции дикие утки. Они вели себя, как домашние, и совершенно не боялись человека.

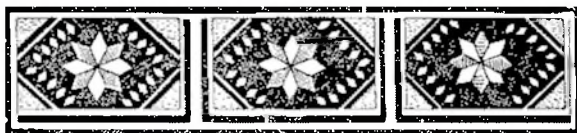
По совету колымчан занимаюсь пополнением путевого запаса пельменей. Колымчанин зимой считает пельмени наилучшими таежными консервами. Они лежат у него за прядкой нарти в мешке, не портятся на морозе. Достаточно развести костер, набрать в кастрюлю снега и, вскипятив снежную воду, бросить туда пельмени, как готово прекрасное и сытное блюдо. Я покупаю в кооперативе подарки для будущих знакомых, заимщиков, которые встретятся на пути, это — кирпичный чай и черкасский листовый табак.

По соседству с метеостанцией двое колымчан ремонтируют дом. Из ковша с саженной ручкой один поливает водою стену своей сутулой бревенчатой избы, другой огромной лопатой набрасывает снег на смоченную стену. Штукатурка из мокрого снега ложится ровно и плотно. Это называется «леденить» дом. Как и все соседские, домик быстро становится белым и празднично-нарядным. Издали он кажется вытесанным из льда.

Все дома облеплены своеобразной колымской «штукатуркой». Блещет снегами широкая Колыма. Еще полгода продлится здесь зима. Но ее не страшатся даже дети.



# Первый колымский лоцман



С Кешей Четвериковым я поднимался в 1932 году на колымском пароходе «Ленин».

«Ленин» — первый пароход на Колыме. Кеша Четвериков — первый колымский лоцман на этом пароходе.

Он маленького роста, смуглый, почти коричневый. Потомок колымских казаков, природный колымчанин. У него колдовская память на все слышанное и виденное. Лицом он больше походит на якута, чем на русского, но говорит только по-русски и, как все здесь, картаво.

Осенью мы стояли у Нижне-Колымска. Кунгас ходил от «Ленина» к берегу, перевозил муку, консервы, табак, сахар, чай и другие продукты, доставленные Северным морским путем из Владивостока.

Кеша наблюдал у стрелы за разгрузкой.

— Товарищ капитан, скоро ли пойдем на низ? — спросил он вдруг беспокойно.

— А сейчас же после третьего свистка! — невозмутимо ответил капитан, не любивший никаких расспросов.

Если кто-нибудь из любопытных членов экипажа спрашивал капитана: «Что это там виднеется впереди?», он отвечал неизменно: «Подойдем поближе и расспросим!» Кеша знал эту привычку капитана и не очень любезные ответы.

Но теперь Кеша беспокоился и продолжал спрашивать:

— А если берега захватит? Мы и будем всё разгружаться?

Капитан молчал.

— На чем же я из Крепости до Шалауровой доберусь? Собачек-то у меня нету...

Когда пароход шел вверх по Колыме от Амбарчика, Кеша бессменно стоял в штурманской рубке «Ленина». Пристально рассматривая реку, он то и дело командовал штурвальному: «Подерни маленько влево! Подерни маленько вправо!»

У наиболее серьезных мест Кеша просил вахтенного не разговаривать с ним:

— Я — безумный сейчас!

Но, когда «Ленин» миновал опасный пережат, Кеша весело посоветовал:

— Однако, пульни, товарищ капитан!

И капитан дал полный ход вперед.

— Кеша, сколько верст до Шалауровой по-твоему? — явно проверяя лоцмана, спросил старший помощник капитана.

— Это по-вашему Шалаурова, а по-моему, по-колымскому, то Казарма, однако, называется. Лаптев там казарму строил.

— А давно ли это было? — не унимался старпом.

— Однако, годов двести назад! Меня тогда еще на свете не было!

— А все-таки, Кеша, сколько до косы? — снова спросил старпом.

— Моих десять, твоих шесть верст будет, однако, — ответил, прикинув глазком, Кеша.

— Каких это твоих-то?

— Длинных, вот каких. На собачках версты длиннее кажутся, чем на быстром пароходе, — обрезал Кеша, отвернувшись к окну и давая понять, что разговор окончен.

По-детски картавя, Кеша всегда высказывал умные и дельные мысли. Он читал реку, как книгу, знал тундру и море, собак и звериные повадки. Это был человек природы, ее следопыт и почитатель. О собаках он говорил, как о любимых товарищах.

Я позвал Кешу в каюту, показал ему книги о Севере и сказал:

— Вот, Кеша, хочу про тебя написать, чтобы все знали о первом колымском лоцмане Низовой Колымы с парохода «Ленин».

— Хорошо, — коротко и безразлично ответил Кеша, свертывая длинную цыгарку.

— Откуда ты так хорошо реку знаешь, Кеша? — спросил я.

— А своим мнением, назойством знаю я Коиму. В сиротстве рос. Сиротство всему научит. Отец был крестьянином, мать — ламутка. Брат бый — помер. Сестра быя — тозе померла. Я остался, сказать, один, как месяц на небе, и двадцати годов женился.

Долго расхваливал Кеша свою жену. Второй нет такой нигде на Колыме!..

Детей у Кеши не было. Он взял на воспитание сироту. Жил на Сухарной заимке. Вместе с женой уезжал в тундру рубить пасти. Жена таскала плавник, а Кеша ставил пасти до самого почти Чауна.

— Так мы лета свои провожали, — продолжал он. — Пятнадцать лет мы себе упокою не знали. Теперь, однако, хорошо живу. А раньше трудное было наше коимское житье. Завоза никакого. Ни чай, ни табак, ни, сказать, еда. А теперь вон скойко пароходов в Амбарчик пришло!

— Как промышляете? — спросил я Кешу.

— Песцов шибко-то промышляю. Я на интерес какой промышленник. Нас теперь не пускают пастями-то давить песцов. Ну, я и капканами за зиму много напромышляю. А сейчас вот лоцманю на пароходе. Товарищи на меня обижаются: Ты, говорят, Кеша, деньгу зашибаешь большую! А Кибизов мне сказывал в Амбарчике: пусть говорят!

— Кто такой Кибизов?

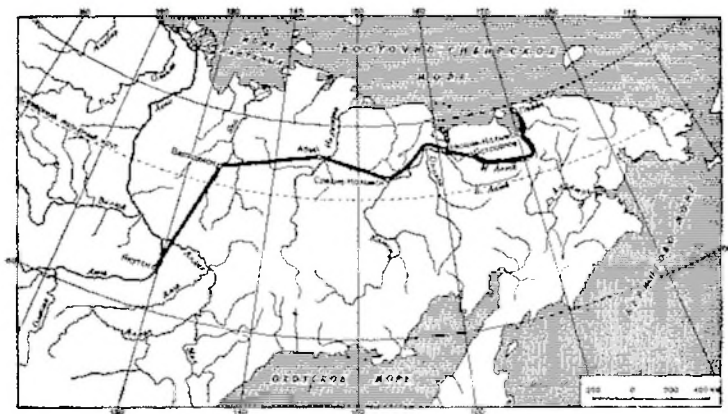


— Он меня на пароход поставил. Я никогда на пароходах не плавал. Ты, говорит, Кеша, борозду знаешь, харватер? — Знаю! «Ну, коли знаешь, садись на пароход!».

Кеша рассказывает, что сам попросился на другой год работать на пароходе «Ленин».

— Я, по своему мнению, знаю реку. Осенью новый лед замерзнет, сетки мы ставим, глубины вымериваем. Река замерзает с берегов. Когда северный ветер потянет, вода коимская о ту пору утихает, река замерзает серединой. А весной лед над глубиной держится. Вот он харватер и виден весь, как на ладони. Только не ленись, примечай. А мы на собачках тут ездим часто, все видим, все замечаем.

— Еще по морю погоды бывают. Как утихнет погода, медведь в море с берега идет. А у нас собачки есть. Мы их пускаем по следу. Собаки зверя останавливают. Когда хозяин близко, пуще идут на медведя. Собака от зверя отскочит, тогда и стрелишь его. Собачек мы очень жалеем. Она себя погубит, а нас от смерти избавит.



## От Певека до Якутска на собаках и оленях

— Весной-то погубил я преданную собаку. Умная была, как человек, только языком не трепала. Лежал медведь в снежной яме. Пустил я собаку, она побежала. А он хитрый и проворный, не доспел я курок спустить, выскочил он из ямы. Задрал мою собачечку медведь.

— Всему делу — собака на Севере. Она саму себя кормит и нас тоже. Ее труд мы заболь (верно, правда, — древнее казачье слово на Колыме) ценим. Денег собака не просит. Одежду тоже не просит. Надо только соблюдать, чтобы она не смерзла, она тебя спасет от смерти. Человек день не поест, не может работать. Собака день не ест, все с нартишками идет, пока в снег не воткнется. Сей год в Амбарчике много груза. Мы его заболь на собачках зимой повезем.

— Правда ли говорят, что в Амбарчике бывают потопаы? — спросил я Кешу. — Говорят, что груз подмочить может?

— Врут, парень! Потопу не бывает, — решительно ответил Кеша. — Только есть, что вода с гор весной побежит. Надо, чтобы закрышка была хорошая, чтобы брезенты были хорошие. Не пропадет груз. Одно и есть, что снегом высоко занесет. Четыре нарты одну тонну груза увезут. Десять-двенадцать собачек на одну нарту. У кого собак мало, восемь-девять запрягут.

Кеша отлично знал берег моря и низовую Колыму. О городах он слышал лишь от бывалых людей. Увидев впервые Средне-Колымск, Кеша был поражен его «размерами и многолюдием».

За время лоцманства Кеши пароход «Ленин» сделал кряду четыре рейса и ни разу не сидел на мели. Что ж говорить о промыслах, которыми он занимался сызмальства. Лучше всех Кеша неводил рыбу, промыслял песцов, медведей. Нередко он добывал и «черного» песка, как называли на Колыме ценного голубого зверя. Кеша был недоволен запретом пасти:

— Это неверно, что пасть отменяют, — говорил он, возвращаясь к своей излюбленной теме. — В капкане худо песка добывать. Песец бьется, пушнину шибко портит. А пасть убивает сразу, пушнину не портит. Да мне что? Я через эти несчастные пасти захворал и жену замучил...

И Кеша принимался хвалить подругу жизни.

— Не видать такой женщины на Колыме, чтобы с мужчиной наравне пасти рубила и все умела делать! Она без меня четвертый год в избе живет. Сама неводит. Сама амбар строила, ближе к избе по бревнышку уновь сложила. Избу-то я сам у новое место перенес, амбарушко-то не успел. Она амбар к избе сама приставила, как мужчина все равно.

Лоцман затягивался махорочным дымом, и его глаза полукрывались.

— Не всегда песец приманку из капкана берет, — продолжал Кеша. — Охота у песка бывает при луне. Луна прошла, песец приманку не тронет, не пошевелит. А когда бывает луна, он у пасти съест и товарища, если тот на виду лежит. А так он мышей ест, редко когды за каждый раз приманку хватает. Он больше приманку берет, когды новый снег нападывает. К весне дольше дни станут, так он хуже берет, а с апреля совсем перестает, ты ему хоть все на свете рассыпай, не берет! Тюлени в ту пору ребят бросают, он их шибко караулит у лунок. Только голову высунут, хватает.

— И на море часто бываете? — спросил я, добиваясь продолжения рассказа.

— До самого Айону доходил. Амундсена видел. Он с нами вместе поварил в Чаунской губе. Я у него поста месяц жил на Айоне-острову, за Большой рекой, а по-русски ее называют Большой Баранихой! Он тутока замерз. Два месяца их несло со льдом на самый камень. У нас юго-восток и значит камень, горы. Поднесло норвежан сперва к Большой Баранихе. За Большой и зимовали они...

— На скуне экспедитской. Говорили будто чудо-скуна. Но я-то не верю. Просто — морское судно. Их переводчик — Геннадий Дмитриевич

Олонкин. Мы с ним ездили сюда в Крепость, в Нижний Колымск. Я его и спрашиваю: и зачем ты, Геннадий Дмитриевич, на чужестранной скуне в море пустился? Неужели мало у нас своих русских кораблей? Ничего он мне на это не ответил.

Я был поражен памятью Кеши. Амундсен плавал в этих местах тринадцать лет назад. А Кеша помнил и Амундсена и имя, отчество Олонкина.

— На первый начин они поехали со мной в Нижний Колымск. Добрались мы до заимки Сухарной. Трое вернулись на скуну, а я Олонкина дальше повез. Просит меня Амундсен через Олонкина съездить в Нижний Колымск. Там американец Корен жил, разных чаек и белых и розовых собирал, мышей, уток, лебедей, горностаев, головы разные, животных. Чучела делал, этим и занимался. Кто говорит: шпиён. А птички были только для отводу глаз. Узнавал он все про нашу колымскую землю и домой в Америку докладывал, затем будто и посылали... Я по эту коллекцию и ездил с Олонкиным в Нижний. Так я Амундсену приглянулся, не хотел меня от себя отпускать, звал с собой в Ному. А у меня семейство в Сухарной заимке. Я и говорю: «Как же от семьи, от родины, мне на чужую землю подаваться? Тому не бывать! Вам — норвежская, мне колымская земляца родная. Езжайте без меня». Так они без меня и пошли в Ному. А я весной приехал назад. Вода на море была снежная, поверх льду. Вот тебе и вся история! — заключил Кеша рассказ.

Я спросил Кешу на прощанье, не скучно ли ему на Колыме? Он удивился вопросу. У него триста шестьдесят пастей было расставлено на песцов. Семьдесят два песца он упромышлял в последнюю зиму. Скучать времени нет. Каждый день кто-нибудь из соседей несет песца к фактории. Принес сосед одного песца, вот и хочется Кеше на завтра двух принести. Не на купцов работает, на свою советскую власть!

Колымчанин, видимо, устал от долгого разговора и собирался уходить. Вошел старпом, услышал конец нашей беседы и сказал мне:

— Запишите так: Кеша — первый человек на низовой Колыме! Он ее знает, как каждую морщину на своей ладони. Кеша встал и, прощаясь, сказал:

— Запиши: Кеша один здесь Четвериков из всей Коимы, по отчеству Петрович, и жена моя Марфа Гаврильевна. Такой больше нет на Коиме!



# Колымский партизан



От Якушкова я узнал, что в Нижне-Колымске живет участник борьбы с колымской белогвардейщиной в годы гражданской войны.

Отправляюсь к нему на край города. Дом партизана Багалая оказывается таким же, как и все в Нижне-Колымске: он сложен из ровных бревен, с пологой крышей, с ледяным окном вместо стекла и так же, как и другие строения, сверкает ледяной штукатуркой.

Хозяин, высокого роста, сильный красивый человек, встретил меня у дверей дома, приветливо пригласил к себе и сразу стал угощать погребной нельмой и строганиной из свежепойманной подледной рыбы. Я сказал, зачем пришел к нему. И Багалай, помолчав несколько минут, словно собираясь с мыслями, стал рассказывать о драматических эпизодах гражданской войны на Колыме...

...Восьмые сутки шел человек на лыжах с горы на гору колымской тайгой. В заплечном мешке лежали спички, патроны для берданки, плитка кирпичного чаю и небольшой котелок для варки пищи.

Полярная ночь кончилась. На короткий срок солнце поднималось над тайгой. Но оно еще не грело. Только на вытянутых ветвях сланца-кедровника клубился кружак, горевший солнечными бликами, как при закате ледяные окна якутской юрты. В безоблачную ночь ослепительно сияли звезды и серебрился Млечный путь. Глядя на него, человек вспомнил чудесную сказку, рассказанную ему матерью. Млечный путь — это лыжный след якутского богатыря Моксогола (Сокола) — сына неба. Богатырь гнался за любимой девушкой. Вот и остался широкий след в небе, высоко над тайгой...

Глядя на звездную полосу Млечного пути, человеку взгрустнулось: ему приходилось не гнаться за любимой, а уходить от нее. Девушка Марьячан жила около озера Тала-Кюэль и спорила с ним красотой. Черные косы Марьячан отливали синевой, ее смугловатое лицо было обожжено ветрами. Движения ее восхищали ловкостью. Она умело управляла конем, была замечательным товарищем, и не было ничего краше ее быстрых темнокарих глаз.

Багалай шел восьмые сутки, не встречая людей. Изредка попадались следы сохатого. Шел днем и ночью. Ложился спать, когда выбивался из сил. Вставал, когда чувствовал, что коченеет от мороза. Разводил костер, сушился, согревался чаем и после короткого сна устремлялся дальше в горы. О нем говорили, что у него «беличья» память. Летом белка запасает на зиму желудей, грибов, кедровых орешков. Она прячет их под корой, меж ветвями или в дупле первого попавшегося дерева. А зимой, когда приходит нужда, белка безошибочно отыщет в тайге деревья, где спрятала свои запасы.



Багалай шел с горы на гору, и каждый камень был знаком ему. Там, где снег был прибит ветрами, лыжи разбегались, и человек двигался медленно. Густая шапка его прямых невьющихся волос сползала на невысокий лоб. Собачья опушка пыжикового малахая обрастала сосульками. Время от времени Багалай привычно откидывал малахай на плечи, и он свисал на зеленой яркой шелковой ленте, подаренной девушкой из Тала-Кюэля.

На ремennom его поясе болтался самодельный нож якутской работы из берданочного штыка. Рукоятка была сделана из корня березы. Безвестный мастер искусно выгравировал иглой тонкий рисунок на березовой рукоятке и залил его оловом. Распластав сильные ноги, скакал на рукоятке ножа сохатый, вспугнутый охотником.

Родители Багалая кочевали с Олоя на Большой и Малый Анюи. Отец Багалая слыл метким стрелком и добывал пропитание охотой. Семья Багалая была большая и бедная. Кочевать приходилось подолгу, ездовых оленей нехватало. Чтобы не мытарить детей, родители сажали их на нарты, где помещался скарб, а сами шли всю дорогу пешком.

Багалай покинул родную урасу<sup>[7]</sup> когда ему было всего лишь одиннадцать лет. Приезжал к ним купец Епимах Жохов. Купец привозил с собой спирт, табак, кирпичный чай и подарки — дешевые ситцевые платки. Он охотно вел «капсе», — рассказывал всякие новости. Послушать его собирались якуты из соседних урас. Епимах Жохов давно обратил внимание на Багалая, часто угощал мальчугана конфетами. А однажды купец попросил родителей отдать ему Багалая на воспитание. Родители согласились: Багалай был восьмым едоком в семье. Мальчику же было все равно, его даже прельщала поездка в незнакомый город...

«Хорошего работника и за большие деньги трудно на Колыме подыскать, ребенок вырастет, будет мне даровым работником», — рассчитывал купец, развалясь в кибитке, запряженной сытыми оленями.

С большим обозом пушнины, накупленной Жоховым за бесценок у якутов-охотников, приехал в Средне-Колымск маленький Багалай. Мать всплакнула на прощанье и, поглядев вслед, пошла в урасу чинить прохудившиеся торбаза.

Мальчик у купца выучился грамоте. А на второй год купец заставил его работать: пилить дрова, чистить двор, косить и возить сено, неводить... Работал Багалай без платы, за еду и одежду, восемь лет. Стал большим и рослым молодцом. Надоело молодцу батрачить.

Задумал уйти от купца.

В тот год строилась средне-колымская радиостанция. Багалай поступил на строительство пильщиком, потом стал матросом. Хаживал на катере из Среднего до самого устья Колымы, изучал реку, сделался известным лоцманом.

В семнадцатом году пришла на Колыму весть о великой революции. Вместе с колонной бывших политических ссыльных Багалай шагал к могилам

<sup>7</sup> Летнее жилище конусообразной формы. Там, где встречается береза, ураса обтянута берестой, за отсутствием бересты ураса обкладывается дерном и засыпается землей (по Матюшкину).



борцов революции, погибших в колымской неволе, и впервые слушал речи о свободе и справедливости.

Потом на Колыме появились белые.

Багалай жил тогда у оседлых якутов в Унарве, в Байдунском наслеге. Далеко по тайге пошла весть о том, что офицер Шулепов расстрелял в Средне-Колымске девять коммунистов и захватил власть в свои руки. Он ставил свечи перед иконами, пил водку и, когда проходил запой, ездил по Колыме собирать «дань» с якутов и русских.

Помощником у Шулепова был Белоницкий.

Летом Белоницкий собрался с награбленной казенной пушиной бежать в Америку. Он давно сторговался с американскими контрабандистами. Но американскую шхуну не выпустили полярные льды. Она зазимовала у чукотских берегов. Белоницкий зимним путем на собаках вернулся в Средне-Колымск. Шулепова в Среднем не оказалось. Он был на Абыйской стороне.

И тогда случилось неожиданное. То ли знал Белоницкий, что власти белых всюду пришел конец, то ли на самом деле явилось к нему запоздалое раскаяние, но собрал он белогвардейцев и сказал им:

— Я был белым. Это моя ошибка. А теперь хочу оправдать себя работой за советскую власть. Призываю всех колымчан бороться за укрепление советской власти на Севере.

Выслушали люди Белоницкого и решили присоединиться к нему. Тогда он послал арестовать Шулепова. Злодея доставили в Средне-Колымск.

Бывший адъютант Шулепова — офицер Канин тоже перешел на сторону победителей. Он вызвался поехать на Абый на разведку, чтобы ликвидировать банду офицера Деревянова, орудовавшую на Индигирке.

Белоницкий набрал отряд колымской молодежи, роздал им ружья и выступил зимней дорогой из Средне-Колымска в Абый. Морозный ветер обжигал лицо, дышалось трудно, коченели пальцы рук и ног... Над разгоряченными оленями стояли облака пара.

Навстречу отряду Белоницкого из Абыя со свежим хлебом и олениной приехал офицер Канин. Обрадовался ему красный отряд. Давно так сытно не ели, как в день встречи. Канин налегке, с одной беговой нарточкой, повернул обратно.

Но не пришлось Белоницкому войти в Абый. Изменник Канин устроил перед самым городком засаду, перебил отряд и завладел его оружием. Погибли активисты, представители лучшей части среднеколымской молодежи, их до сих пор вспоминает советская Колыма.

Канин присоединился к Деревянову. Он предложил ему наступать совместно на Средне-Колымск, но разными путями: Канину из Абыя, Деревянову — из Аллаихи. А чтобы обмануть красногвардейцев, оставшихся в Средне-Колымске (среди них был и Багалай), изменник Канин прислал из Абыя нарочным подложное письмо за подписью Белоницкого:

*«Абый взят нами. Скоро разобьем и Деревянова.»*

*Белоницкий».*

Никто не усомнился в подлинности письма.

Для ускорения дела среднеколымцы решили направить разведку к Аллаихе. Вызвался ехать Багалай: он хорошо знал Аллаихскую сторону. Юноша набил кисет листовым черкасским табаком, захватил несколько коробок спичек и поехал налегке в беговой нарточке. В то время считалось позорным ездить по Колыме со своим продовольствием. По древнему обычаю тайги путнику всегда был открыт вход в любую юрту. Гостить можно было хоть месяц, и радушный хозяин не требовал от гостя никакой платы. Так говорил обычай таежного гостеприимства.

Олени попались сытые и добрые. Багалай не ехал, летел на Север, в Кара-Талы (Черный Яр). Четыреста верст от этого яра до Среднего быстро остались позади. Только перед самым Кара-Талы якуты встретили Багалаю тревожными известиями:

«Белоницкого убили. Отряд его истреблен. Канин — изменник. Деревянов с большим отрядом движется через Аллаиху на Средний».

Багалай менял оленей и двигался дальше на Север. До Кара-Талы оставалось немного. Разведчик ночевал у якутов, осторожно заводил разговоры, выпытывал новости.

Старик-тойон, богатый якут Андрей Соболев встретил проезжего обычным якутским приветствием: «капсе!» Ночью в юрте расплакался ребенок. Старуха-бабка присела к внуку и стала рассказывать ему сказку. Это была древняя якутская сказка о богатырях Абаагы и Юрюне. Багалай не раз слышал ее в детстве. Сказку говорили скороговоркой, без перерыва, а когда останавливались, чтобы перевести дыхание, то отплевывались. Это делалось для того, чтобы не было заметно, когда рассказчик останавливается...



## Оленная упряжка

Юрюн-богатырь был честным и хорошим. Он жил на земле, как все якуты. А злой Абаагы-богатырь (дьявол-богатырь) — его противник — жил под землей. Юрюн всегда выходил победителем в состязаниях с Абаагы. А когда Абаагы, случалось, одолевал Юрюна, тот взлетал к небесам и у небесного наиглавного царя просил помощи. Получив ее, Юрюн с новой силой на крылатом коне спускался под землю бить Абаагы. Был тот змеем-оборотнем. Змей мог принять различные облики девять раз: орлом, быком, джяга-бабой (баба-ягой), у которой одна нога посреди туловища и одна рука...

Разговоры сказочных героев передавались песнями. У Юрюн-богатыря голос был спокойный и приятный. Абаагы-богатырь говорил громко и дико.

Андрей Соболев сидел возле Багалая, молча курил трубку и прислушивался к сказке. Когда старуха замолкла и Багалай перевернул пустой стакан доннышком вверх, Соболев строго сказал гостю:

— Абаагы-богатырь это и есть ты, Багалай! Потому что отдали тебя с малолетства чужому человеку, а тот испортил тебя и подменил, обернулся ты плохим человеком. Знаем, парень, куда ты едешь и зачем ты едешь...

Но, хоть и будешь ты не наш богатырь, все же ты лучше Деревянова, и мы тебе зла не желаем. Ты — гость...

— В чем дело? — прикинулся ничего не понимающим Багалай.

— Думаем мы так, — ответил хитрый старик, — едешь ты для того, чтобы выведать, где белые, куда путь держат, сколько их и много ли оружия с ними? Так знай: вчера отряд Деревянова был в Кара-Талы и сегодня должен подойти к нам. Мы тебе не хотим плохого. Уезжай к себе в Средний. Подожди с конем до утра в стороне у якутов и уезжай... Я дам тебе хорошего коня.

Багалай ушел в дальнюю юрту. А утром видит, мчится к нему якут на оленях.

«Либо извещение какое-нибудь, либо белые катят. Неужели обманул меня старик?»

Оказалось, что приехал сын Соболева. Передает новое капсе:

— Пришел отряд Деревянова. Много людей. Все с оружием. Старик сказал: скорее тебе ехать в Средний.

Снова круглые сутки без отдыха мчался Багалай в Средний. Всюду ему давали свежих, сильных, незаморенных оленей. Багалай доложил Ревкому:

— Отряд Деревянова идет в Средний с аллаихской стороны. Канин изменил советской власти, перебил обманно отряд Белоницкого, и сам идет на Средний с абыйской стороны. Нас хотят взять врасплох. Надо организовать отпор!

Багалаю не поверили.

— Что ты рассказываешь! — сказали разведчику. — Абый в наших руках. Деревянову скоро конец. Вот и письмо Белоницкого. Он сам нам пишет, что разобьет Деревянова...

Напрасно спорил и горячился Багалай: ему не верили.

И тогда он сказал в сердцах:

— Не верите, тогда сам Деревянову устрою засаду. Не допущу бандита погромить Средний.

— Не горячись, Багалай! — успокаивали его. Зачем тебе отряд? Подожди денек. Отдохни. Завтра, может быть, соберем людей...

Не послушался Багалай, поехал сам один в местность Тала-Кюэль, что означает «озеро с крутыми берегами». Здесь встретила его любимая девушка с длинными черными косами. В узких щелочках ее темнокарих глаз он впервые увидел испуг. Марьячан просила Багалаю не оставаться и часу в Тала-Кюэле. Разведчики Деревянова рыщут поблизости. Идут с Деревяновым богатые якуты и русские...

Собрал Багалай местных талакюэльских якутов-бедняков, чтобы с оружием встретить Деревянова. Пришли шесть человек. Было у них десять коней, но из оружия во всем селении нашлась одна только старая берданка. Отобрал Багалай белых, как снег, коней, чтобы не так они были заметны врагу, одел своих ребят в белые олених кухлянки и вышел из Тала-Кюэля.

Сказал Багалай своим товарищам:

— Оружия у нас нет. У врага оно есть. Надо завладеть оружием врага.

Незамеченными подкрались смелые талакюэльцы к расположению деревяновского отряда. Увидели десятки дымившихся костров, много оружия в пирамидах, сотни оленьих нарт.

— Видишь, Багалай, сколько их, а нас горсточка. У них много ружей, мы безоружны... Заболъ<sup>[8]</sup> пропадем. Перебьют нас деревяновцы, — сказал один несмелый.

Отпустил его с позором Багалай. А остальные остались, решили делить с Багалаем одну судьбу. Спрятался Багалай с товарищами в густолесье. Стали выжидать. Увидели, что несколько белых на оленях поехали в сторону Средне-Колымска. Пошли багалаевцы за ними следом. Шли целые сутки.

Вдруг белые повернули обратно к своему отряду.

— Почему повернули? — удивлялся Багалай. — Должно быть неспроста. Не иначе, как встретили наш отряд. Значит, поверили мне, вышли из крепости против Деревянова.

Конь под Багалаем был горячий, а еще горячий был молодой седок. Белые ехали на оленях. Конь перегонит оленя. Олень от коня отстает, словно связанный по ногам. Помчался Багалай, а следом за ним и его товарищи, наперерез белым, чтобы остановить их. Нагоняют кони оленей. Заметили белые погоню, открыли стрельбу. Свистят пули, бьются о стволы деревьев. Багалай нет-нет да остановится, выстрелит из берданки,

---

<sup>8</sup> Наверно (колымское слово).



вскрикнет от радости, когда свалится с нарты враг. Выстрел за выстрелом слышатся с обеих сторон. Багалай то круто вправо, то влево повернет коня. Уклоняются от выстрелов и его товарищи. Никак не могут попасть белые в храбрецов. Вот слезли с нарт, пошли пешком, ведут оленей, а сами кричат Багалаю по-якутски.

— Тохто! Тохто! Хая кигигины (Стой! Стой! Кто такой?).

Багалай молчит, разглядывает получше местность. Нигде не видать среднеколымцев. Еся надежда на коня. Высмотрел тропку. Надо немного проехать краем озера, на виду у противника. Шепнул об этом товарищам. Те поняли замысел Багалай. На озере — неглубокий снег. Багалай крикнул белым:

— Сёп, сёп, когитун! (Так, так, подождите!).

Выстрелил еще раз, видно было, как заметались испуганные олени и люди, а сам тронул коня, за ним дернули поводья и друзья. Кони рванули, как ветер, мигом доскакали до берега, не успели белые даже выстрел сделать.

Исчез Багалай со своими товарищами, как якутские острые стрелы, выпущенные из лука.

Только на третьи сутки увидали они в тайге дым костров и возле них человек пятнадцать среднеколымцев. Рассказали Багалаю, что дошла до них суровая весть, прав он был, верят теперь ему. После короткой дневки отряд, вместе с Багалаем, выступил в поход, чтобы встретить боем непрощенных гостей.

Перед выступлением приехали с горы два нарочных — бывший офицер и среднеколымский поп Сизых.

Увидав их, Багалай сразу понял, что люди эти приехали неспроста.

Офицер показал командиру отряда письмо. Узнали красногвардейцы, что изменник Канин с большими силами уже ворвался в Средне-Колымск, захватил безоружный город, чинит там суд и расправу и предлагает им сдаться, обещая полную амнистию.

Отряд стал совещаться, что делать. Решили рассыпаться по наслегам, уходить к кочевникам, а Багалай направить в Гижигу.

— Если доберешься, сообщи властям и поднимай оттуда людей нам в помощь, — сказал ему на прощанье военком.

Умел Багалай говорить по-якутски, чукотски, ламутски и по-русски. Отец его был юкагир, мать — ламутка. Знание языков делало его своим человеком на тысячи километров в тайге и тундре.

Багалай пошел в восточную сторону — на заимку Банскую. Шел днем и ночью. Думал добраться до знакомых людей.

На восьмые сутки выбрался Багалай к опушке леса и увидел оленюю дорогу. Здесь шло большое стадо. Побрел Багалай по свежим следам. Спустился с горы, видит: открытая речка шумит невдалеке по камням, урасы дымят... Обрадовался. Сильнее застучало сердце. Дошел, наконец, до людей. Но не знал: к хорошим идет людям или к плохим?



В урасах, куда пришел партизан, оказались богатые эвены из Олая, знавшие еще родителей Багалай. Не раз они говорили, что пропадет Багалай, спознавшись с большевиками. Но приняли его хорошо. Угостили оленевой, крепким чаем и дали даже кюорчах, — сбитые сливки, политые алым брусничным соком. Человек ел и пил жадно и слушал хозяев, приютивших его. Они рассказали, что на Колыме идет война и туда опасно стало ездить. В тайге стреляют. Приходится часто сидеть без муки, чаю, табаку, спичек... Пытались они пробираться на Колыму, но дальше заимки Банской итти опасно. В последний раз на заимке сообщили новость: мимо них на восток бежал человек...

— Мы все ждали: дойдет человек до нас или пропадет в тайге? Так, значит, это ты и был, Багалай? Хорошо, что дошел! — сказал старик-хозяин, староста шести урас. — А мы думали не выйдешь из тайги, пропадешь, однако.

Хозяин дал гостю легкую урасу и посоветовал ехать в Олой.

— Здесь держать тебя не надо, — объявил старик, — могут погоню за тобой сделать. Будет плохо и тебе и нам.

Ехать надо было несколько сот километров, а на далекое расстояние эвены без урасы никуда не ездят. В урасе можно обсушиться, сварить пищу, согреться и поспать в тепле.

На двадцати оленях покатила Багалай в Олой. В дорогу взял с собой только немного оленьего мяса.

Прибыл в Олой на седьмые сутки и вскоре помчался дальше до самой Гижиги, где была советская власть.

Внимательно выслушал гижигинский военком рассказ о том, что случилось на северной Колыме, и сказал:

— Зимой выслать на Колыму людей нам не удастся. Нарт нехватит, чтобы послать большой отряд. А малым отрядом итти туда нечего. Летом, как только тронутся льды, вышлют помощь на Колыму из Владивостока. Тогда мы сообщим. А ты пока живи с нами. Мы дадим работу тебе.

Зиму работал Багалай в Гижигинском районе и пролетовал в той же местности. В сентябре военком Гижиги получил радиограмму с Колымы. Вызвал к себе Багалай.

— Смотри! Дошел пароход из Владивостока до Колымы. Твою весть я передал на Большую Землю, а там меры приняли. Бандитов на Колыме больше нет. Просят среднеколымцы помочь тебе выехать обратно на Колыму. Помнят своего товарища...

Летом поплыл Багалай вниз по Омолону на самодельной лодочке. Плыл на низовую Колыму, к Марьячан, к товарищам.

Плыл Багалай по порогам, миновал перекаты Омолона. Эта река, видел он ее впервые, показалась ему много страшнее против спокойной низовой Колымы.

Никто не мог ему в пути сказать хоть что-нибудь о Марьячан. Побывал он зимой на Тала-Кюэле. У озера с крутыми берегами не было

девушки Марьячан. Рассказывали, что деревянновцы взяли ее насильно с собой, и она исчезла, «корнем в землю ушла»...

Почернел человек, как небо перед дождем, — горе захлестнуло. В тот день Багалай дал полную волю оленям, вспугивая зайцев и куропаток.

Пропала Марьячан. Исчез бесследно и Багалай. Никто на Колыме не знал, куда девался неутомимый ходок, колымский партизан, вернувшийся из далекой Гижиги...

Багалай искал Марьячан. Однажды ночью у камелька в юрте Багалай, как обычно, завел разговор о Марьячан. Старик встрепенулсЯ и заговорил быстро:

— К нам в Сухарную из Среднего бежали белые. С ними была Марьячан, так называл девушку один из начальников. Жила она в моей избе и здесь умирала от неизвестной тяжелой болезни. В забытии все звала какого-то человека, просила, чтобы не уезжал далеко, не покидал ее, а вернулся, защитил бы от насильников. Тот начальник не давал прислушиваться к ее словам и поил меня спиртом...

Багалай заметался, как волк, в юрте. Потом вышел посмотреть своих собак. Заиндевел на морозе, они спали около юрты, свернувшись клубками, уткнув морды в пушистые хвосты. Глянул человек на небо. Погода обещала быть завтра ясной. Багалай поехал к родным берегам и достиг «крепости» — Нижне-Колымска. Здесь старого партизана встретили с почетом. На перевыборах его избрали председателем райисполкома. Стал жить Багалай в конце города, в маленькой, плоскокрышей, деревянной юрте...

Якутский областной комитет партии вскоре послал Багалая учиться в Коммунистический университет трудящихся Востока в Москву. Вернулся он домой, получив образование. Вернулся на Колыму не один, а с товарищами. Якуты, тунгусы, эвены, получив образование, возвращались в родную социалистическую Якутию. Багалай прибыл на Колыму на новом речном пароходе с Лены, Северным морским путем, как хаживали в старину на кочах ленские казаки.

Багалай поселился немного ниже крепости. Здесь рубились новые амбары и дома оленсовхоза, директором которого и был назначен Багалай. Пряно пахло душистой, смолистой лиственницей. Кругом валялась пахучая щепА.

По низовой Колыме от берегов Ледовитого океана и до самого Среднего шло «капсе» о человеке из тундры, который ездил далеко в Москву, где живет сам Сталин. Багалай вернулся, чтобы сделать радостной и счастливой жизнь в родных краях, там, где слишком долга морозная зима и очень коротко пугливое лето.



# Рождается жизнь



Кажется, что еще совсем недавно за нартами прозвучал прощальный салют моряков. Но уже прошел ноябрь, подвинулся к своей середине декабрь, взяли силу морозы, полярная зима вступила в свои права. Море уже далеко от нас. Колымский лес серебрится при луне пышными куржаками.

Нет больше яранг. Не слышно шелкающего говора чукчей-каюров. Нет Атыка. Но мы снова собираемся в путь. Собаки прыгают возле нарты, будто поторапливая людей. Это всегда так: перед началом поездки собаки рвутся вперед, их трудно удерживать на приколе, но пробегут сотню-две километров, и прыть уже не та.

У нового каюра в упряжке среди девяти собак три щенка — три «сынка», как произносит, шепелявя, каюр. К языку колымчан надо привыкнуть, чтобы его понять.

— Хлёстко едем? — спрашивает каюр, полуобернувшись ко мне на всем гону.

В этом вопросе чувствуется гордость:

— Вот, мол, какие у меня собачки!

И, действительно, колымские лайки наилучшие из ездовых. Они все, как на подбор, рослые, сильные и выносливые. Бегут резво. В самую лютую стужу лайка спит на улице, свернувшись клубком. Ее остро стоячие уши всегда настороже.

Масть лайки, обыкновенно, волчья или лисья, реже черная, с светлыми подпалинами, иногда бурая и пестрая. Спина всегда темнее остального туловища, голова и конечности — светлее. Псовина пушистая, волос прямой, с крепкой тяжелой остью. Под псовиной — густой подшерсток. Хвост пушистый, круглый, загнут кольцом и закинут на спину. Так именно изображают лаек чукчи, вырезая их изображения на моржовом клыке.

Косая прорезь глаз у колымских лаек отливают в полутьме зеленым и красным огнем. Голова посажена на недлинную шею. Грудь глубокая, ребра спущены ниже локотков передних ног. Ноги и лапы, по складу, похожи на волчьи.

Чистопородная лайка походит на полярного волка и густотой шерсти и торчащими вверх ушами, шириной черепной коробки, остротой морды.

Лайки упрямы, сметливы, ласковы к хозяевам; попадают, впрочем, и очень свирепые.

Колымчане запрягают в нарты от восьми до пятнадцати собак.

Нарты берут до полутонны груза. С такой поклажей упряжка проезжает при благоприятной погоде до шестидесяти километров в день. Беда, если во время езды собаки почуют какую-нибудь дичь — помчатся за нею, как бешеные.

Рассказывают, что лайки подкарауливают в реке рыбу и добывают ее очень ловко. Если рыбы много, то собаки съедают одну только голову, остальное бросают.

Чукотские лайки из упряжки Атыка питались сырым тюленьим мясом, затем олениной и, наконец, в долинах рек — мороженой рыбой. Колымских кормят одной лишь рыбой.

Колымская упряжка так же, как у чукчей, цуговая. Головным у нового каюра идет «Товарищ».

Не слышно песенно-звучного «Матаааау!»

Не слышно больше:

— Мультик! Мультик! Мультик!

Каюр-колымчанин не наказывает собак остолом, но и не разговаривает с ними так нежно, как Атык.

Одет колымский каюр беднее Атыка, хотя живет зажиточно. Зато на плечах у него мойтрук — кольцообразная шаль из черных беличьих хвостов. Такой шали я нигде не видел.

Она удивительно красива. Этим черным меховым «ожерельем» — мойтруком каюр дважды и трижды, в зависимости от стужи, обматывает свою шею.

У нового каюра необычный словарь, словарь колымчанина. Перед тем как тронуть собак, он кричит мне:

— Нарту заповырял! Садись! Держись крепче!

Заповырял — увязал.

Не~~к~~ось — плохая дорога, сморозь, нарты не катят. Невал — спокойно.

Поб~~е~~рдует — отдыхает.

За~~б~~оль — верно.

Мо~~л~~ьча — зря, по-пустому.

Колымчанин говорит так, как некогда говорили его предки, пришедшие на Колыму, быть может, еще со Стадухиным. Древние казацкие слова и якутские, переделанные на русский лад, остались бытовать здесь на столетия. Тайга, стужа и бездорожье крепкой стеной отгородили «колымский» язык от больших изменений на три сотни лет. Ныне рухнула эта стена и на северных реках слышится часто московский чистый говор. Коммунисты и комсомольцы поднимают далекий край к социалистическим высотам.

Управляет каюр-казак упряжкой по-другому, чем Атык. Когда нарты летят с крутого берега вниз на белое полотно Колымы, он вдруг становится на одну полозину обеими ногами для торможения. Редко слышится «кухх» и «подь-подь»...



Быстро скрылся приземистый Нижне-Колымск. Метеорологи на прощанье выставили на стол бутылку спирта, нарезали строганины из нельмы. Солить стружки рыбы они советовали крупно, затем перчить и, если желательно, окунать в уксус. Хозяева подняли тост за дальнейший рост края, за товарища Сталина — учителя и друга советской молодежи. И забылось на миг, что за ледяным окном стужа и вторую неделю уже не видно солнца...

Если ехать по реке, труднее найти сменные нарты. Наш путь в Средне-Колымск пойдет «горой» (берегом). На горе все станции.

Вскоре теряем снежные просторы Колымы и въезжаем в таежную тесноту. Впереди старый городок Средне-Колымск и новый затон — Лабуя... Хочется увидеть малоизвестный и многообещающий край. Мы поехали «по якутам», как сказал каюр-каюр.

Еще совсем недавно вот также мы ехали «по чукчам», от жилья к жилью. Теперь вместо яранг, мы находим приют в якутских юртах — деревянных избах, сооруженных из лиственницы.

— Стужа! — говорит каюр для поддержания разговора. Из пушистой опушки малахая едва выглядывает крупный красноватый нос, обледеневшие усы и карие пронзительные глаза. К концу первого дня поездки каюр становится похожим на деда-мороза. Закуржавели и мой малахай, борода и мохнатый шарф.

Каюр часто останавливает нарты. Он осматривает собак, словно врач. У передового пса пах стал слегка жестковатым. Порывшись в мешке, каюр достает «ошейник» — своеобразную песцовую горжетку и повязывает ею передового. Вскоре еще несколько собак украшены ошейниками. Внимательно осматривает каюр и лапы ездовых. К концу дня несколько собак бегут в обуви, ровдужных гитях, — мешочках с завязками, напоминающей меховые торбазы. Эти собачьи сапожки защищают лапы от поражений об наст. Собачью одежду и обувь я впервые увидел на Колыме. Эти умные приспособления берегут здоровье собак.

Какие бывают контрасты! Те самые песцовые горжетки, которые украшают плечи модниц в разных уголках нашей планеты, служат на Крайнем Севере для согревания ообак... К вечеру становится еще студенее. К вечеру... а мы почти не видели дня. Солнце так и не показывалось. Не видно даже лучей его.

Провожавшие нас нижнеколымские метеорологи сказали утром:

— Сегодня сорок шесть ниже нуля! Ничего, доедете!

Декабрьская ночь встречает нас первой полсотней градусов мороза. Я дышу сквозь шерстяную перчатку. Позднее мне пришлось увидеть у якутских летчиков маски от мороза, шитые из меха. О меховых масках упоминает и Сарычев в своем «Путешествии...»

Мои рукавицы из волчьих лапок. Они греют хорошо. Когда мороз становится совсем нестерпимым, я прикладываю камусную волчью рукавицу к лицу, спасаясь от обморожения.

А каюр-колымчанин как будто вовсе не боится мороза. Время от времени он только поворачивает вокруг шеи свой мойтрук.

Первая ночевка в Волочке, в тридцати километрах южнее Нижне-Колымска, у якута Федора Егоровича Сивнова. Согревшись у камелька, слушаем воркотню древнего старика. Три года назад он летал над Колымой. Не без торжественности Сивцев показывает записку, аккуратно написанную чернилами на листке почтовой бумаги. Читаю ее по просьбе старика вслух.

«С Федором Егоровичем Сивцовым мы летели восьмого августа из Нижне-Колымска в Средне-Колымск (два часа сорок семь минут), а десятого августа из Средне-Колымска в Нижне-Колымск (два часа четыре минуты).

Федор Егорович очень быстро освоился с самолетом и все время следил за окрестностями.

Мы шлем через него привет всему населению Колымского округа. Пусть появление нашего самолета послужит началом для создания постоянных воздушных путей на Советском Севере вообще и в Колымском крае, в частности.

Средне-Колымск, 10 августа 1929 года».

Эту первую машину над Колымой вел один из пионеров полярной авиации летчик Кальвиц.

Старик-якут показывает заветное письмо всем проезжающим, как почетную грамоту.

Изда на Колымском тракте. Здесь останавливаются проезжие. Это короткое письмо рисует им недалекое будущее, рассказывает о советских воздушных путях, которые положат конец якутскому бездорожью.

Записываю якутские слова, которые могут понадобиться в первую очередь.

Хорошо — учуг**ей**.

Плохо — кусаг**ан**.

Ехать — бариех-**ьл**.

Поехали! — барда!

Скоро — турганнык.

Понимаю — биял**бин**.

Не понимаю — бильба**пин**.

Так — сёп.

Подарок — беляк.

Олень — таб**а**.

Есть — бар.

Спасибо — паг**ьба**.

Здравствуйте — дороб**о**!

Тарелка — тэрэкэ.

Стол — ост**ол**.

Ложка — лоску.

Последние из записанных мною якутских слов явно испорченные русские.

На столе разложен конский волос. Из него старик Сивцев вьет сети. Вместе с сыном он добывает сетями максуна, омуля и нельму. Вить волосяную сеть — большое искусство, не каждый заимщик умеет это делать.

В избе исключительная чистота и порядок. Утром хозяева тщательно моют мылом руки, долго полощут рты.

Вчера каюр говорил — некое. Сегодня записываю новое выражение: «плавко ехать». Это значит — дорога хорошая, собакам легко бежать, как лодке плыть по реке.

А на реке торосы забором протянулись от берега до берега. Ветры разломали молодой речной лед, наторосили его высокой грядой.

Уже девяносто километров от крепости. Мы — в Лакееве. Греемся у камелька, где сидели в царское время купцы-обиралы, стражники да исправники...

Знакомлюсь с каюром Котеликовым. Он за четыре дня доезжал от Нижне-Колымска до Среднего и считает такую быстроту рекордной.

По пути каюр задержал нарты в Лакееве у заимки Соловьева. Здесь у каюра маленькое «капсе».

Оказалось, что Соловьев добыл в тайге песка. Это — новость. И эту новость каюр повезет дальше по всем станкам, которые он посетит.

«Капсе!» — так здороваются якуты, входя в юрту.

Капсе — значит — рассказывай!

В ответ слышится приветливо:

— Эн капсе! (Ты рассказывай!)

Затем говорят: — Капсе суох! — ~~н~~ечего рассказывать.

И только после этой короткой церемонии начинается предолгий таежный разговор. Слышится частое «~~о~~ксю» — возглас удивления, как у чукчей «каккумэ!»

«Капсе» давно уже стало в Якутии русским словом и бытует в русском разговоре. На Колыме так и говорят: — Заходи вечером покапсекать.

Будто печенье-хворост горкой лежит на тарелке строганина из мороженой нельмы. Теперь, я знаю, — ее едят без хлеба, обмакивая ледяные рыбные стружки в крупную соль. Если при этом поперчить строганину, да окунуть в уксус, то это, действительно, наивысший северный деликатес.

Капсе повсюду идет о волках.

— На Большом Анюе недавно волки гоняли одного паренька — рассказывает Кеша Котеликов, лучший каюр Колымы.

— Волк страшен, когда поражает, а так он человека боится и сам никогда первый не нападает, — говорит мой каюр.

«Поразует» — собирается стайей... Тоже колымское слово.

— Волки поразуют в марте, — продолжает каюр. — В марте они шибко гуляют. По десяти и больше соберутся и бегут, а впереди одна или две волчицы. Они из-за волчиц и грызутся меж собой.

В Колымской я покупаю рыбу для собак. Здесь канцелярия нарождающегося оленсовхоза. Если дело пойдет по-хозяйски, совхоз завоюет хорошие позиции на Колыме, где много ягельников.

Ночуем, расстелив на полу олени шкуры, которые еще пахнут дымом чукотских костров. И даже в доме мы все равно лезем в кукули и поступаем правильно. К утру все тепло вышло вон из избы. Одеваемся торопливо, дрожа от холода. На улице совсем темно. Глубокая ночь, звезды, месяц на ущербе. Но часы показывают утро. Мы торопим каюров, которым непонятна наша спешка.

Нарты бегут по Большому озеру. Сильный ветер. Но как только собаки попадают на лесную тропинку, становится теплее. В лесу ветер теряет свою силу.

Мы ночуем в Холмах у якута Герасима Тарасова в новорубленной юрте. Между бревнами, старательно проконопаченными, все же видно серебро инея. И здесь, как во всех колымских домах, к утру наверняка будет морозно...

Едем по новым местам, большим озерам, перелескам. Ночуем в юртах и каждый вечер видим у камельков новые лица.

Мы входим в любую по пути юрту, как старые знакомые, и кричим оживленно по-якутски: «Доробо!»

И нам, как старым знакомым, приветливо отвечают: «Доробо!»

На утро наши нарты сбегают круто вниз к снежной целине Колымы.

— Вон «Партизан», — кричит мне каюр.

Знакомый пароход! Его на буксире доставил из бухты Тикси в устье Колымы «Сибиряков» в 1932 году. Река Лена поделилась своим флотом с братской Колымой.

«Партизан» замерз у Карлукова, недалеко от устья речонки Виски. Речники живут на берегу Колымы, где выросло селение: вместо трех домов — шесть жилых строений.

Заходим в избу. Пряно пахнет свежерубленной лиственницей. Впервые на Колыме вижу двускатную крышу. Избу рубили люди с Лены — экипаж «Партизана».

На верстаке, у задней стены избы, лежат инструменты и детали, которые ремонтируют механики. «Лучший подарок Великому Октябрю — ударный судоремонт», — призывает яркий плакат, растянутый под потолком. Тиски, сверла, гаечные ключи на верстаке освещены «летучей мышью» — маленьким переносным фонарем. Сегодня в мастерскую с парохода принесли для ремонта насос...

Часть людей «Партизана» работает по судоремонту, остальные на дровозаготовках.

Пионеры колымского водного пути расспрашивают нас о морских пароходах, зимующих у Певека, гордятся успехами «Сибирякова» — своего

проводника, впервые в истории Арктики без зимовки прошедшего весь Северный морской путь.

Советские корабли проложили дороги вдоль всех берегов отечества. То, что не могли сделать иноземцы, что не под силу оказалось Норденшельду и Амундсену, выполнили с честью советские моряки, которых послал и воодушевил на победу над грозной стихией сам товарищ Сталин. Колыма и другие сибирские реки обзаводятся флотом, затонами, портами, механическими мастерскими...

Во время колымского ледохода при первой подвижке льда речники надеются завести «Партизана» в речку Виску для отстоя.

Из Карлукова меня везет молодой якут, на вид почти мальчик. Зовут его Серафимом. На одном из поворотов, он вдруг останавливает упряжку и быстрыми ловкими шагами удаляется по глубокому снегу за ближайший холм. Вскоре он возвращается, неся в руках черкан — ловушку, напоминающую самострел. В черкане белеет окоченевший горноста́й.

— Горноста́ль! — произносит юный каюр, и я читаю в его искрящихся глазенках большую радость.

Еще несколько раз соскакивает Серафим в пути, чтобы вернуться к нартам с новым трофеем. Мальчик определяется в тайге, как в своем родном доме. Холмы и пригорки, изгибы дорожек, деревья, поваленные буреломом, пни, торчащие из-под снега, словно названия улиц и переулков, указывают Серафиму, где он ставил свои черканы. Серафим быстро находит их в дебрях Колымской тайги.

— Чугас? (близко?) — спрашиваю мальчика.

— Юрак Ачиха! — Ачиха еще далеко!

Нам еще ехать и ехать до Ачихи...

Позади остались обширные пространства каменной, Восточной тундры и низинных тундр, примыкающих к долинам рек и морю. Снега, укрывшие тундру, скрыли от нас нескончаемые кочковатые болота Севера. Мы ехали недавно долинами и горами, из безлесного простора втягивались в корявое редколесье. Кедровые стланцы, запущенные снегами, долгие дни были единственными нашими спутниками. И вот из кочковатых осоково- и пушице-кустарниковых тундр Чаунского района через долины и горы мы перевалили к колымскому редколесью с сухими вершинами, печально смотрящими на небо. Много бурелома. Вечная мерзлота не дает корням глубоко уходить в землю, корни стелются веерообразно по поверхности и не могут служить надежной державой для лиственницы. Ветры валят деревья, выворачивая их с корнем. Вся дорога обвехована таяжным буреломом.

Ветры настолько уплотняют, или, как говорят здесь, «убивают» снег, делают его таким плотным, что он выдерживает тяжесть груженых нарт и едва поддается ударам остола. Порою, когда нарты выезжают на широкое озеро, на поверхности снежного покрова видны заструги, образованные ветрами. Они похожи на застывшие волны. Заструги тоже тверды, как камень. Такой снег пилят здесь пилами...



Зимний северный ветер зовется по-местному «хиуз». Северо-восточные ветры приносят снегопады, а северо-западные — сухую и морозную погоду.

В сухие дни прекрасна лесотундра. Южные ветры — «южаки» влекут за собой пургу с липким снегом. Южные ветры — «южаки» влекут за собой пургу с липким снегом. Южные ветры — «южаки» влекут за собой пургу с липким снегом. Тогда снежный путь превращается в колымскую «некося» — нарты плохо катят, прилипают полозьями к снегу.

Из Ачихи едем на оленях. По сравнению с собачьими оленьи нарты все равно что международный вагон против теплушки. На оленьей нарте можно лежать, как на розвальнях, можно и подремать. Не обязательно сидеть, свесив ноги, как при езде на собаках, не надо подбирать ногу при встрече с каждым пнем.

Ямщики (тунгус — старик и мальчик — чукча) везут нас на оленях до самого Орелаха, — до школы. Олени идут двумя цепочками по три нарты в каждом счале. Моя нарта следует второй. Олени не могут убежать, они счалены с передней нартой.

Станочник в Темире Иван Третьяков говорит, что каюры будут ночевать в тайге вместе с оленями...

— Волк ходит! — объясняет станочник. — Будут караулить оленей.

Наши ямщики безоружны. У них нет даже остола, он им не нужен. Я спрашиваю их: чем же будут они отбиваться от волков?

— Будем отгонять криком. Волк человека боится.

Ночью олени пасутся в ягельнике, и ямщики сторожат их.

Расспрашиваю мальчика, последнего чукчу на нашем пути к Якутску. И мне вспоминается белоснежная тундра, ледяное Восточно-Сибирское море — звучный «тинь-тинь» и дымные яранги. Мальчик — чукча ничего не знает о жизни в яранге. Он живет в избе. Мать — чукчанка недовольна: в русской избе надо много ходить, не то, что в яранге — всё под рукой.

Белые, как снег, олени, приподняв короткие хвостики, бегут легко и быстро, быстрее собак, но скоро выбиваются из сил. В дымке тумана пар держится облачком над бегущими оленями, их никак не различить даже с нарт. Олени словно окутаны туманом. Кажется, что едешь на нартах-самоходах.

К полдню олени опускают хвостики и резко сбавляют ход. Ямщик останавливает нарты, срезает в тайге тальниковую хворостину. Взвизгнула погонялка, олени встряхнули задними ногами и несколько минут побежали быстрее, затем снова переходят на мелкий шаг и вскоре совсем останавливаются. Ямщики дают им немного покопать мох-ягель. Олени охотно занимаются этим любимым делом.

На стенах юрт, посеревших от времени, нацарапаны имена и фамилии проезжавших здесь людей. Некоторые надписи датированы полвека назад. В одной из юрт мне попался стишок, переписанный у поэта, познавшего, видимо, всю сладость передвижения на нартах по якутской северной тайге...

И длится наш путь бесконечный,

Тихонько олени бредут,  
И сухо стучат их копытца,  
И нарты ползут и ползут.

И тянется лес беспредельный,  
И горы зубцами встают,  
В ущельях глубоких метели,  
Как волки, поют и поют.

Не день, не неделю, не месяц  
Всё длится и длится наш путь,  
Всё дики картины природы,  
Пустыня, куда ни взглянуть.

И точно во сне, пролетают  
Озер бесконечная цепь,  
И рек беспредельных долины,  
И тундры бесплодная степь.

Пустыня, куда ни взглянуть!

Нет, теперь пустыня уходит в прошлое! Уже хорошо виден рассвет  
нового дня колымской земли.

Но попрежнему сухо стучат копытца оленей, да нарты ползут и  
ползут...

Вот ямщики останавливают оленей. В руках старшего пила-ножовка,  
ржавая, с поломанными зубцами. Второй ямщик помоложе хватает оленя за  
рога, и старик пилит рога. Олень дрожит, ноздри его широко раздуваются,  
он тяжело дышит, сопит. А ямщик, посасывая трубку терпкого табаку, пилит  
рога, будто сухостой для костра. Рога падают, вонзаясь в глубокий снег.  
Оленный поезд трогаются после того, как все олени становятся комолыми.  
Теперь они не будут цепляться за ветки.

Кажется, что само небо село нам на плечи, так низко нависли облака.  
Ничего не видно кругом. Нельзя понять, как ямщики находят дорогу.  
Уставшим глазам за каждым деревом чудятся жилые юрты и сверкающие  
снопы искр из трубы приветливого камелька.

Тунгус везет нас к Орелаху, в теснину тайги. Недолго мы побыли на  
Колыме. Реки не видно. Мы тянем горою.

Ямщик ведет оленей за повод, так здесь тесно, и во-время спилены  
рога, иначе бы нам не проехать. Нарты задевают за стланец-кедровник, и с  
пушистых ветвей метелью осыпается куржак.

Олени пугливы, как зайцы. Завидев впереди черновину, они мечутся в сторону. И человека боятся они. Утром их долго ловят ямщики.

В юртах разговор — капсе о колымском золоте...

Еще до Великого Октября объявился на верховой Колыме Бориска по фамилии Гайфулин. Откуда родом был этот смелый таежник, никто в точности не знал. Говорили, что бежал татарин от царского суда и, прознав о том, что на Колыме золото, подался в безлюдную тайгу. Он никого не боялся на свете, кроме урядника из Олы. И заклинал тунгусов и юкагиров, чтобы те не проговорились о нем кому-нибудь: узнает урядник из Олы — тогда пропал Бориска!

Обосновался старатель на Хириникане, что значит по-тунгусски река Рябчиковая. Здесь Бориска стал мыть золото. Он работал один, питался летом кореньями, ягодой да грибами, а зимой подачками с вьючных караванов, изредка проходивших с Олы на Сеймчан.

На Хириникане (впоследствии Средникане), где тунгусы стреляли рябчиков, Бориска нашел золото. Здесь он промышлял белку, ею питался и одевался. Он стал богачом, но умирал с голоду... Он накопил много золота, но не имел куска хлеба.

Россия воевала с кайзеровской Германией. Шел 1916 год. Голодный и больной Бориска продолжал бить шурфы, мечтал стать первейшим богачом в мире, подкупить урядника в Оле, получить свободу...

В осенние туманы и морось шел близ Хириникана вьючный караван и увидел в стороне большой шурф. В шурфе головой вниз лежал Бориска. Одна нога разутая, другая в разодранном сапоге. Старатель нашел, докопался до богатого месторождения, намыл с одного лотка до двухсот граммов чистого золота и... умер от голода, обладая уже несметным богатством.

Сюда к этому, найденному Бориской, месту пришли первоначально советские золотоискатели — дальстроявцы. В честь первооткрывателя они назвали прииск Борискиным. Но потом советские геологи нашли другие месторождения, много богаче Борискинского. Повинуясь советским исследователям, героям социалистического труда, Колыма и ее притоки раскрыли свои богатства, о которых и не мечтал Бориска — первый колымский старатель, уплативший за находку своей жизнью. Легенды о первом колымском старателе идут по всей округе...

Каждый вечер застает нас на новом месте, и каждую ночь мы беседуем с новыми людьми.

В Орелах приезжаем ночью. Здесь школа-интернат. Пятьдесят якутских ребят учатся в просторной и светлой школе. Вижу школьную стенгазету на якутском языке, крупные буквари-плакаты. На каждом станке, в каждой юрте можно встретить эти плакаты. Кстати, почти все наши молодые каюры умеют читать.

На Колыме, как по всей стране, проводится всеобуч.

Учитель-якут прибыл сюда из Якутска. Он учит не только детей якутов, но и взрослых. В программу Орелаской школы входит родной язык,

математика, естествознание, обществоведение, художественное и физическое воспитание.

В интернате ежедневно дежурят сами дети. Я прихожу во время ужина. Спрашиваю дежурного. Он в отлучке. За него отвечает заместитель дежурного, живой, круглоголовый мальчик Владимир, названный в честь Ленина. Он показывает мне комнаты интерната, столовую, классы...

Я помню кривую речонку, замерзшую неровно, всю в буграх наледей, и высокий лес по ее берегам. Последняя нарта задержалась где-то в пути и прибыла позже других. Ее каюром был Пантюшка Мухин. Он сокрушался о том, что, по всей видимости, не успеет попасть в четверг к восьми часам вечера в Нижне-Колымск на кинопередвижку. Он пел у костра про колымскую жизнь очень складные и смешные частушки. Я разговорился с ним; Мухин знал о классиках русской литературы. По его бойкости я думал, что Пантюшка по меньшей мере окончил семилетку. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что не только он, но и старший его брат — оба не умеют читать.

Якуты опередили медлительных аборигенов колымчан. Грамота прорвалась мощным потоком в наслеги и далекие юрты якутов, раскиданные по тайге.

В Орелах оленей сменяют кони. Они идут лениво, похоронным шагом с какой-то величавой медлительностью.

На коне — молодая якутка в старомодном, в обтяжку сшитом пальто. Она соскакивает с коня только для того, чтобы отогреть занемевшие ноги. И в этой медлительности коня и в старомодном пальто, как в зеркале, видится старая Колыма, отступающая перед новой.

Не грудью, а спиной тянег лошадь нарты с грузом. Нет хомута и дуги. **Потяг** от нарты забрасывается за переднюю луку седла, на котором маячит фигура женщины.

Как жаль, что нет больше каюров. Говорят, что за Средне-Колымском лошадей вновь сменят олени.

Медленна поступь коня, так медленна, что хочется встать и итти пешком хоть до самого Средне-Колымска. Иду вперед, но развилка дороги останавливает меня. Нарты выползают из тайги на озеро, покрытое зимним убором. На озере ветер. Мороз щиплет кончик носа.

Спрашиваю в селении Келие якутку:

— Не надоели ли вам постоянные гости?

— А мы ждем гостей с радостью! Нам без них, однако, скучно! — отвечает мне хозяйка.

**Терюролах!** По-русски: «Рождается жизнь». Это кооперативное товарищество третьего Мятужского наслега Талакюэльского тогоя, местности Орелах. Это — начало колхоза. Первичная его ступень. Пушно-транспортная артель объединяет десятки юрт.

Рождается жизнь!

Это звучит гимном в глухомани тайги.

В юрте за столом несколько человек. Одни просматривают столбики цифр, другие щелкают на счетах. Председатель артели жалуется на безлюдье, на недостаток работников. А как нужны люди для такого большого дела, как коллективизация в тайге.

Недалеко уже и до Средне-Колымска. Чаше попадаются встречные, и с каждым из них ямщики затевают пространное капсе.

В одной из юрт встречаюсь с конюхом, едущим «по сено» к якутам. Чтобы доставить в Средне-Колымск два воза закупленного сена, конюх закупает четыре, из них два будут съедены конями по дороге.

Конюх, русский, белокурый и веселый парень, ни слова не знает по-якутски и нимало не горюет. У него через плечо перекинут ремень, и на нем баян.

— Как же вы ездите тут, не зная языка? — спрашиваю его.

— А с баяном! — бойко отвечает конюх. — Баян мой переводчик и товарищ. Приезжаю в юрту, отогреюсь, сыграю на баяне, угостят меня за игру когда чаем, когда олениной, я еще сыграю. Якуты очень интересуются. Понимают меня через этот баян.

Вот и Лабуя — первый новостроящийся большой затон для отстоя колымских судов. Здесь начало нового города. В Лабуе зимует пароход «Якут», приведенный (так же, как и «Партизан») «Сибиряковым» с Лены на Колыму.

Высокий крутой берег Лабуи отвесно стоит над белеющей снегом зимней рекой.

Последние километры перед Средне-Колымском.

В Лабуе уже строятся баржи, они пойдут летом к Амбарчику и возьмут груз, доставленный морскими пароходами.

Уже встают новые дома на недавно безлюдных берегах, рождается новая жизнь, создаются затоны, школы и клубы.

Терюролах!

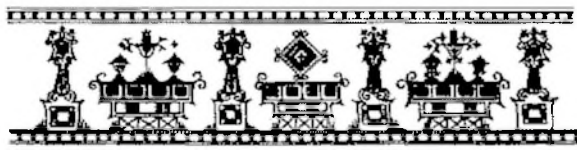
Рождается новая жизнь.

Мне представляется карта Крайнего Севера, кружки селений и заимок, голубые изгибы рек. Я чувствую и вижу их в натуре. Безмолвные точки на карте и линии рек — это вехи моей страны, идущей вперед к социализму.





# Шопот звезд



На левом берегу Колымы показались огоньки Средне-Колымска. Они все ближе и ярче. Видны силуэты приземистых, по пояс ушедших в снег, домов северного города.

Мороз ниже пятидесяти градусов. «Плящий» мороз. Слышу шум собственного дыхания. Это не описка, нет.

Еще известный исследователь Восточной Сибири Черский отметил в своих «Записях» таинственный шум дыхания:

«Шум этот, — писал Черский, — напоминающий отдаленный шорох метлы (при подметании улиц или шелест пересыпаемых зерен), появляется, начиная с  $-48^{\circ}$ , усиливаясь с увеличением мороза, и слышится всего явственнее при движении против ветра, так как при этом выдыхаемый пар проносится около ушей наблюдателя... В особенно холодные ночи путнику часто слышится слабый, непрерывный, странный шелест, который якуты (на Колыме) называют «шопотом звезд»...

Шопот звезд... Я настороженно прислушиваюсь к этому еле уловимому шороху. Такого не было в Восточной тундре. Но там не было и таких морозов. Успокаиваю себя мыслью, что в Верхоянске нас ждут морозы похлеще. Верхоянск недавно еще считался полюсом холода северного полушария. Ныне, в результате новых наблюдений, первенство перешло к Оймякону. Но не будем обижать и Верхоянск. Там зимой отмечаются морозы в  $-68^{\circ}$ ...

Географ и геолог Черский первым сообщил обстоятельные сведения о районе полюса холода. По предложению геолога С. В. Обручева открытому им громадному хребту присвоено имя Черского. Хребет этот был обследован геологической экспедицией С. В. Обручева в 1926 году. Экспедиция пересекла девять широтных горных цепей, огромную горную страну.

Наши нарты подбегают к самому большому дому в Средне-Колымске — зданию радиостанции. Дом сложен из бревен и резко отличается от всех других своей двускатной железной крышей. Прежние владельцы завезли сюда фисгармонию. Отогревшись, я пробую взять несколько аккордов. Фисгармония играет. На ней ноты Чайковского, Мусоргского.

Начальник радиостанции знает о нашей экспедиции. Он передавал многие наши радиogramмы в Москву.

Радисты — уши Колымы — уважаемые люди. К ним заезжают коммунисты и комсомольцы — культармейцы тайги.

И сейчас в каюте радиста сидит гость из тундры — комсомолец Роликов с малого Анюя. Он рассказывает, как недавно охотился на сохатого.

Поехал Роликов на охоту вдвоем с другим колымчанином. Один сохатый перебирался через Аной. На него наплыл карбаз Роликова. Лось, выйдя на мель, встал во весь свой огромный рост и спокойно смотрел на приближавшихся людей. Колымчанин выстрелил. Тогда сохатый, как называют здесь лося, побежал по отмели до самого берега, поднимая облако брызг. И, наконец, почуя под собой твердую почву, пустился вскачь. Такого бега Роликов никогда не видал.

Когда снег стал плотным, колымчанин, друг Роликова, взял собак и поехал по снегу в тайгу, где водились лоси. Собаки его были не только ездовыми, но и промысловыми, норовленными, как говорят на Колыме. Почуяв зверя, собаки поднимают морды, тянут воздух.

— Собаки лахтят, дух взяли, — пояснял колымчанин.

Заметив, что собаки лахтят, он отцеплял одну от упряжки и спускал на зверя, которого сам еще не видел за деревьями. Собака бросалась в тайгу, и вскоре звонкий лай доносил хозяину: зверь открыт! Тогда колымчанин отцеплял еще несколько собак. Лай слышался с одного места. Это означало, что собаки «поставили» лося, никуда его не пустят до прихода хозяина с ружьем.

На галицах — лыжах, обшитых камусом (шкура с оленьих лап), колымчанин «скрадывал» (подкрадывался) к сохатому, атакованному собаками, и метким выстрелом валил лесного гиганта.

Анойский ламут Егор Дьячков взял однажды десять патронов и убил десять сохатых. На каждую пулю по зверю.

Весной, перед приходом судов морской экспедиции, Роликов ездил на заимку оленесовхоза, охотиться на гусей.

В двенадцати километрах от заимки раскинулись песчаные холмы — лучшее гусяное место. Зимой сильные ветра, действующие постоянно в одном направлении, сдувают здесь весь снег. На оголенной почве по веснам, раньше чем в других местах, образуются проталины. На эти проталины и садятся в поисках корма гуси, летующие на Колыме.

Вблизи холмов Роликов и его товарищи поставили палатку. Затем зарядили ружья и пошли. Около проталин в снегу были выкопаны ямки-засадки. Замаскировали их ветвями. Сверх пушистой кухлянки каждый надел белый чехол. Некоторые из охотников повязали головы белыми платками. И едва засели в засадах, как показались крикливые гусиные стаи. Было слышно, как переключались они, гоготали, низко летя над проталинами, заманчиво темневшими внизу.

За трое суток четверо охотников набили сто тридцать семь крупных птиц. Роликов заболел снежной слепотой от яркого, освещенного солнцем снега, «перебил себе глаза». Товарищи вели полуослепшего комсомольца до самых нарт. Вскоре он поправился...

Сверкая ледяной одеждой, весело смотрят дома Средне-Колымска, будто после капитального ремонта; все они заново «оштукатурены» и «побелены» мокрым снегом на морозе. Мальчишки с гиканьем гоняют собачьи упряжки далеко в тайгу по дрова. Когда-то тайга сплошь покрывала колымские берега и вплотную подходила к городу. Но ее с годами

повырубили, и берег оголился. Привелось потомкам колымчан подальше ездить за дровами.

Пишем радиogramмы в Певек морякам-товарищам. Сейчас на станции перебой с горючим, и она работает экономно, короткие сроки. Но все равно радиogramмы дойдут до наших товарищей.

От радистов я узнал, что вскоре после нашего отъезда из Певека, оттуда на запад к Амбарчику выехал флагманский врач экспедиции, старейший и заслуженный полярник Леонид Михайлович Старокадомский. Несмотря на свои пятьдесят семь лет, он решился ехать зимой за шестьсот километров по морскому берегу на собаках к строителям полярного порта.

На всем протяжении пути от Певека нет ни одного жилья. С прошлого века сохранились кое-где лишь стены старых поварен, построенных купцами, некогда торговавшими на Севере. Стены этих поварен защищали доктора и каюра в пути от лютых ветров. На двенадцатые сутки Леонид Михайлович прибыл в Амбарчик. Едва отогрешись, доктор прошел в барак, где лежало несколько больных. Они с надеждой смотрели на приехавшего, седого, однорукого врача и ждали от него чудес. А он, как всегда, улыбался и шутил. Больным казалось, что болезнь и в самом деле не столь уж серьезна.

Доктор рассказал больным о своих прежних путешествиях по Крайнему Северу, о том, как пробивалась во льдах экспедиция «Таймыра» и «Вайгача», открывшая Северную землю. Через месяц доктор уезжал из Амбарчика победителем. Провожать его вышли все до одного строители полярного порта. На койках не оставалось ни одного больного. Возвращение доктора Старокадомского в Певек было триумфальным. Чукчи говорили о нем как о великом шамане...

...Радисты угощали нас куропатками. Охотники рассказывали, что куропаток близ города тьма-тьмущая.

Но бывают в тайге встречи не только с куропатками.

— Шли мы с парнишкой колымским берегом, ягоду собирали, — рассказал один из радистов. — Вкусная, как изюм. Увидали медведицу с медвежатами. А медвежата, смотрим, катят к вам. Им охота порезвиться, полюбопытствовать, кто такие там на двух ногах ходят. Медведица за ними во весь опор. Только, слышим, хруст по валежнику идет. Под нами берег крутой, податься некуда. Видим, зверь нас достигает. Прыгнули вниз, галька зазвенела. Слышим сзади по гальке прогудела медведица, как снаряд. Мы остановились, схватились за руки и давай кричать не своим голосом. Она высоко шерсть подняла, зубы оскалила, щелкнула, что молотком по железу, обежала вокруг нас, наследила и пустилась по берегу в сторону, к тайге, где остались медвежата. Мы ее, а она нас испугалась.

— Тут недалеко от Зырянки, — вспомнил его товарищ, — детишки в школу горой шли и тоже побежали от медведицы. Она — за ними! Ребятишки с перепугу остановились, схватились за руки, голосят. Медведица обежала кругом их, тоже наследила, конечно, и в тайгу обратно.

Скоро в Средне-Колымск придет кинопередвижка. Ее здесь ждут и много говорят о ней.

Вечером привожу в порядок свой дневник.

Каждый раз, когда, проехав несколько десятков километров по тундре или тайге на собаках, оленях или лошадях, берусь за тетрадь, чтобы набросать на бумагу мысли, навеянные пройденным путем, с особой теплотой вспоминаются дымные яранги и юрты, освещенные мигающим светом камельков, возле которых находят приют люди «Большой земли», пришедшие к берегам холодных морей и рек. Невзгоды отступают, и запоминается только движение вперед, и тогда ощущаешь, что это движение и есть настоящая жизнь, вечная нарта, ползущая в горы, леса, по долинам замерзших рек, через наледь, горные перевалы, в стужу, в ветер, в непогоду, чтобы приобщить старую нашу родную землю к новой жизни...

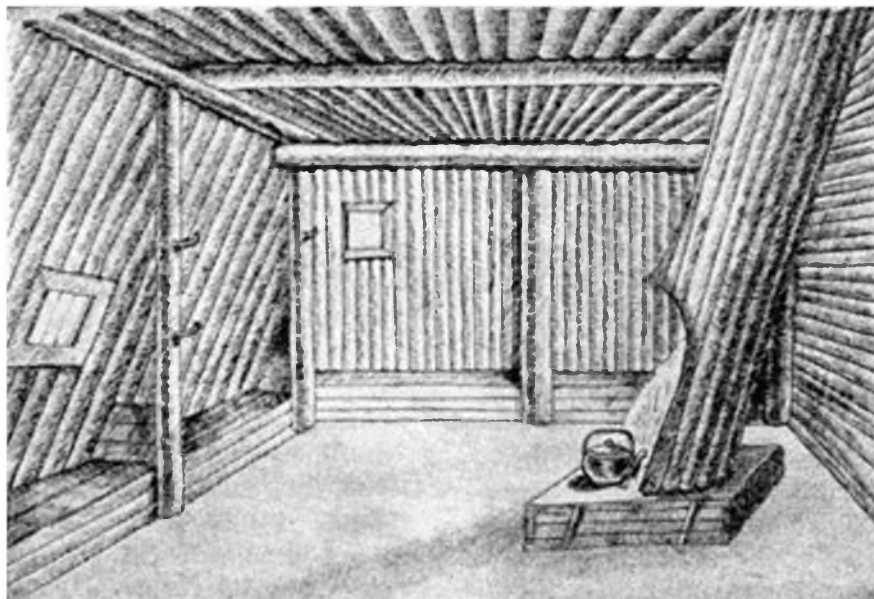
Слышен звон бубенцов. Это почта на оленях прибыла из Якутска. Заиндевели олени, заиндевел ямщик. Начальник связи принимает старинные, может быть столетней давности, кожаные, совсем порывшиеся, огромные мешки, адресованные Средне-Колымску. Он же сдает почту на Нижне-Колымск. Завтра почта уйдет отсюда дальше на Север.

И все же старый Средне-Колымск уступает свое первенство Лабее, новому Колымскому городу.

Придя по следам Бориски на Колыму, советские люди нашли здесь клады, воздвигли золотой цех Советского Союза.

Они разыскивали не только металлы, но и уголь отличного качества.

Будут советские пароходы ходить по Северному морскому пути на своем северном угле.





## В якутской юрте (по Серошевскому)

Средне-Колымск значительнее Нижне-Колымска и более похож на город. Он раскинулся в длину, имеет хорошие строения, помимо обычных плоскокрыших. В этом городке был в 1820 году исследователь края Ф. Матюшкин. В своем письме он мрачными красками рисовал Средне-Колымск.

«Бррр... холодно. — Вообразите себе юрту, низкую, дымную, в углу чувал (печь), где казак на сковороде поджаривает рыбу, в окнах вместо стекол льдины, вместо свечи теплится в черепке рыбий жир, вместо постели — медвежина, постланная на скамье, и это — мой дворец. Вот, Егор Антонович, мое житье-бытье, а скука, скука... И добрый человек не придет поговорить со мной — сижу один, думаю, мечтаю, и часто несчастный, приходящий за подающим, застает меня в слезах. Несчастье делает человека лучшим, я никогда не мог похвалиться сострадательностью, но признаюсь, что теперь делюсь последним с бедным».

И возможно, в той же избе, в которой писалось это печальное письмо, я сижу в обществе молодых советских ученых, приехавших на Колыму, чтобы исследовать ее.

Играет патефон; народные артисты СССР поют из Москвы и для далекой Колымы. В углу этажерка. Я рассматриваю собрание книг. Это все самые последние книжные новинки, вывезенные молодыми учеными из Ленинграда и Москвы. Они везли с собой сюда, на Колыму, целый ящик книг. И теперь, в полярную долгую ночь, когда затихает северный городок, замолкает патефон, и только слышится треск поленьев в печурке, молодые ученые берутся за книгу, как за руку своего друга. И невольно вспоминаются слова Максима Горького: «Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука. Обе эти силы соединены в книге». Ни конфет, ни засахаренных фруктов, ни даже вина не привезли с собой люди за тысячи и тысячи километров на снежную Колыму. Они привезли с собой книги, которые особенно нужны здесь, на краю земли.

Через три года мне вновь привелось побывать в этих колымских краях с колонной судов третьей Лено-Колымской экспедиции. Караван колесных пароходов и барж вступал впервые в пресные воды великой реки Колымы. Морской переход речных судов из Лены в Колыму был завершен. Льды, недавний жестокий шторм на море, едва не погубивший маленькие скорлупки — речные суда, туманы, преграждавшие путь отважным водникам в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском, — все это становилось уже воспоминанием. Любуясь Колымой, парторг экспедиции повторял сталинские слова: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». Перед речниками простиралась родная стихия — река. И хоть то была быстрая, дикая, таежная и еще малолюдная Колыма, но все радовались. Речники успокоенно любовались колымскими берегами, говорили об охоте на куропаток, рябчиков, медведей. Волгари вспоминали с любовью Волгу, украинские речники — свой чудный Днепр. И все вместе хором хвалили многоводную красавицу-Колыму...

В Крестах Колымских с речных судов сошла группа работников оленсовхоза. В приземистом Нижне-Колымске участники экспедиции



вручили председателю местного райсовета бархатное, шитое золотом знамя. Цветным шелком на бархате был искусно вышит портрет вождя народов товарища Сталина. Такое знамя впервые видели в северном городке. Освещенные солнцем, ярко играли бликами золотые и шелковые нити художественно расшитого знамени. Далеко виднелись на расшитом знамени слова: «Нижнее-колымский районный исполнительный комитет». Такое же знамя доставила экспедиция и городу Средне-Колымску.

В Амбарчике, Лабуе, Средне-Колымске, быть может впервые за время существования людей на Колыме, пили чай со свежими лимонами, завезенными сюда в большом количестве Северным морским путем. До морских экспедиций Колыма знала лишь только шиповник, голубицу, бруснику и кислицу (красную смородину)...

Тайга пестрела цветными красочными пятнами. Желтизна тайги говорила о наступавшей осени. Это были последние дни навигации на Колыме. Быстро надвигалась зима. В короткие сроки преображалась колымская северная земля. Пришел конец «району длящегося народного бедствия».

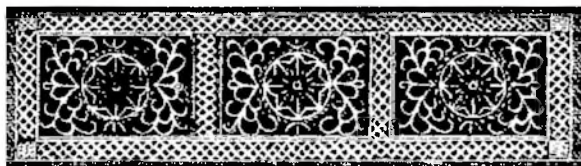
Строится новый город Зырянка. Он затмит Лабуу. Я знал — будет построен поселок в Крестах Колымских. Старые города Колымы — бывшие «крепости» — уступают дорогу новым советским городам — форпостам советской культуры на Крайнем Севере.

И когда в стужу я снова слышу шум своего дыхания, шопот звезд, как говорят якуты, — я знаю, о чем они шепчут...

Звезда с звездой говорят о чудесах, которые ныне совершаются на колымской землице, спавшей тысячелетия.



# С Колымы на Индигирку



Снова лес, озера. Снег на реке, на пушистых ветвях, на мохнатых шкурах, которые служат нам подстилками в юртах под открытым небом. Морозно. Небо кажется безоблачным, но снег падает и падает. Ему не видно конца.

Мой возница — мальчик-якут. На вид ему не более двенадцати лет. Это Андрюша Слепцов. Ночь 21 декабря мы встречаем с ним в тайге, не доехав до юрты или хотя бы поварни. Греемся у большого, жаркого костра, зажженного Андрюшей в честь рождения Великого человека...

Назавтра морок, пасмурно. Юный ямщик поет потихоньку что-то по-своему, а затем вдруг затягивает песню Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала...»

Поутру он сзывает оленей: они разбрелись по тайге в поисках ягеля.

— Гой-гой-гой! — кличет мальчик, идя по следам оленей, широко отпечатанным в податливом снегу.

Следующая ночевка в Ачигей «у населения», как себя называет здесь каждый якут, хотя бы он был единственным жителем на сотни километров. Здесь я прощаюсь с Андрюшей.

Вторая ночевка — в палатке на берегу озера, окаймленного лесом.

Мы едем почтовыми нартами на станционных оленях. От станка к станку, от юрты к юрте. Перегоны в пятьдесят километров. Но случается, что делаешь и сто километров, пока не наедешь, наконец, на жилье или поварню.

Ночуем в палатке, как некогда с Атыком в Восточной тундре. Только здесь морозы похлеще.

Утром слышится призывное:

— Гой-гой-гой!

Ямщик «гойкает», сзывает своих оленей.

— Олень готова! Барда! Барда! — приглашает меня ямщик.

— Барда!

Это значит поехали!

Часто слышится этот якутский радостный возглас.

Он напоминает чукотское «Тагам!»

...Сменился вновь мой ямщик. Теперь это пожилой, худощавый якут, чем-то похожий на Атыка. Волосы цвета воронова крыла с синевой, во рту

трубка с черкасским табаком. Тот же бронзовый загар на широких скулах, немного помороженных.

В Якутии холоднее, чем на Чукотке. Здесь дальше от моря, а там сказывалась его близость. На ямщике пыжиковая, кофейного цвета кухлянка и кольцеобразный шарф — мойтрук из черных беличих хвостов. Каюр спит, покрываясь пушистым одеялом, сшитым искусно из заячьих лапок. Оно очень легкое и очень теплое.

Комсомольцы в Певеке были правы, когда хвалили чукотские плекеты. Как бы глубоко ни провалился я в снежную яму, ноги всегда сухи. Высокие якутские торбаза постоянно черпают снег. Поутру после ловли оленей ямщики выколачивают свои торбаза, полные снега.

Стужа учит путешественника беречь тепло. К нартам я выхожу, полностью готовый к поездке. Вся одежда тщательно подогнана. Кухлянка повязана по-ямщицки длинным в сажень кушаком-опояской. Конайты надежно завязаны у самых щиколоток. В пятидесятиградусный мороз не станешь переодеваться в пути. Перед выездом пьем с ямщиком горячий чай, поглощаем побольше масла — лучшее средство от мороза. Если придется снять на минуту рукавичку, то делаю это, осторожно прижимая ее свободной рукой, чтобы не выпустить из рукавицы живительный теплый воздух — мое тепло.

Днюем в Эбяхе, в наследном совете, в просторной юрте, где холодно, как на улице, и в углах лед.

Ночью светит луна первой четверти. Скоро два месяца в пути. От Средне-Колымска мы забираем снова на север, поднимаемся к Абыю.

Держатся пятидесятиградусные морозы. Хорошо, что мы на оленях. На узкой собачьей нарте долго не высидеть в такую стужу, на широкой оленьей можно полежать, забравшись в кукуль.

— Э-э-э! — покрикивает ямщик.

Он пугает оленей своими криками. Олени боятся голоса хозяина, как удара палки.

Достается больше других передним оленям, каюр часто перепрыгает их, пополняет свежими, теми, что бегут позади, привязанные к крайней нарте и зовутся «запасными». Запасные бегут без нагрузки, отдыхают, чтобы затем сменять уставших.

До сорокаградусного мороза я иногда на ходу вел записи. Но в более сильные морозы это невозможно. Надо успеть вынуть из верхнего кармана камлейки блокнот с карандашом, записать хотя бы два-три слова, чтобы потом по ним восстановить то, что может забыться. Но едва только выпростаешь руку, возьмешься за карандаш, как рука онемевает, станет чужой, непослушной. Надо немедленно прятать ее обратно и ждать, пока тепло, собирающееся под защитой волчьего камуса, оживит руку.

Покидаем Эбях вечером в сильный мороз. В пути я задремал и проснулся от сильного холода, ломившего плечи. Нарта стояла без ямщика. Куда же делись товарищи? Где ямщик? В тайге нет дорог, нет вещей, нет следов. Все замечено снегом. Луна светит немыслимо ярко. Вдалеке вижу лесок. Надо гнать к леску, там не так хватает ветер, там теплее...

Олени не слушаются меня. Тогда, подобно ямщику, начинаю громко кричать, пошевеливать их. Олени встают, и я едва успеваю вскочить на нарту. Упряжка несется вперед к спасительному лесочку. Но недолго. Вскоре олени переходят с рыси на медленный шаг, затем резко сворачивают влево и останавливаются, чтобы копать снег, искать мох — ягель. Что я ни делаю, как ни стараюсь подражать ямщику, все напрасно. Оленей от пастбища не отогнать. Остается одно: забраться на нарту в кукуль и ждать. Олени подкормятся, отдохнут, а там, гляди, со светом можно будет ехать вперед, «нюхать дым», искать юрту...



## **У ламутской стоянки**

И вдруг голоса! Это мои товарищи. Оказалось, что в пути оторвались две задние нарты.

Ямщик не сразу обнаружил исчезновение нарт, а когда хватился, их уже не было видно. Он не стал будить меня, отвязал передние нарты от моих и пустился обратно на поиски. Пропавших ямщик разыскал в шести километрах.

Новый, 1933, год встречаем в тайге, не доехав до ближайшей юрты.

Пьем чай у костра, вспоминаем товарищей, зимующих у Певека. Быть может, и они вспоминают нас, гадают: где-то мы сейчас?

А мы встречаем новый год в одиночестве, на берегу неизвестного озера, вдали от друзей, в пятидесяти километрах от ближайшей юрты.

Почти каждый день у нас новые ямщики. Не успеваем познакомиться, сдружиться, как уже снова смена станционных нарт и оленей, а с ними и ямщиков. Это езда на перекладных. Почти ежедневно перемена оленей и нарт, ежедневно перекаладываем с нарты на нарту почту и чемодан.

Ночуем в Бердигестяхе. По моим расчетам, уже шестое января нового года.



Две недели, как день пошел на прибыль. Скоро покажется долго прятавшееся от нас солнце. Мы увидим его чуть раньше, чем наши товарищи в Певеке, потому что будем немного южнее.

Перед нами — поварня. Первый домик на стокилометровом перегоне. Избушка на курьих ножках, без окон и дверей, в заиндевевшем лесу, будто из легенды о мертвой земле, которую оживляют чародеи с живой водой. Да и на самом деле легенда вполне подходит к обстоятельствам. На колымской земле уже появились чародеи — ученики Ленина и Сталина. Они перестраивают по-новому жизнь и на этом отдаленнейшем участке советской земли.

Вечером спускаемся с перевала Сысь, где неистовствует ветер. На спуске нарти набегают на нарти. Еще один миг, и они разлетятся в щепки. Но ящик ловко отворачивает от грозящей опасности.

Навстречу идут пять нарт из Абыя с грузом на Средне-Колымск. Мы рады встречным, а встречные — нам. Кстати, мы друг другу «сделали» дорогу.

Короткое «капсе» и снова поехали!

Каждый день мы все дальше от Средне-Колымска. Вот уже пройдены триста километров от Эбяха к Абыю и все время по чьим-то нартенным следам. Северная якутская тайга становится все более обжитой.

Сто километров промчались на сытых оленях до Шестаковки. Вчера — бесконечный и крутой спуск во мглу, сегодня — на лесной тропе считаем ветви своими малахаями, сшибая снежные куржаки.

Нарты выбегают на простор реки Индигирки.

Триста лет назад на эту реку пришли русские землепроходцы. И через три сотни лет сюда прибыла первая партия советских ученых-гидрографов, гидрологов и астрономов-геодезистов. Начальником первой Индигирской экспедиции был гидрограф Владимир Данилович Бусик, его помощником — Евгений Дмитриевич Калинин.

Тунгусы утверждали, что ни один человек не может близко подойти к индигирским порогам и, во всяком случае, никогда их не переплывет. Высоко в горах, говорили они, над Индигиркой, зажатой в каменных теснинах, сидит дух гор, у самой середины всех пяти порогов. Как только он завидит смельчака, решившегося преодолеть пороги, вмиг напустит на него своих верных псов. Эти псы — злые ветры. Они опрокинут человека вместе с лодкой, разобьют об острые камни.

На добрую сотню километров растянулся неприступный порожистый участок этой своевольной реки.

Начальник Индигирской экспедиции Бусик решил заснять реку, разыскать вход в нее с моря, рассеять вековое суеверие, описать уклоны порогов, дать представление о мощности реки, рассказать о ее глубоком каньоне.

Бусик был энтузиастом, человеком, не знавшим преград на пути к цели. Он был не только начальником, но и первым в труде. В экспедиционном лагере товарищи равнялись по нему. Люди спали по пяти часов в сутки. Они неумоимо продвигались вперед с промерами глубин, со



съемкой крутосклонных берегов, с нивелировкой. Вместо пятикилометровой нормы партия Бусика ежедневно перекрывала промерами тридцать километров.

— Дойдем до порогов, тогда дам большую дневку, — обещал изыскателям начальник.

Все и без того ждали, когда покажутся легендарные пороги.

Наконец, послышался звенящий шум. Казалось, что где-то поблизости нескончаемо работает огромный завод.

Была звездная ночь. Раскинув палатки, люди говорили о завтрашнем дне. Назавтра Бусик предложил желающим плыть с ним вместе через пороги. Трусов не оказалось. Все, как один, заявили, что хотят плыть вместе с начальником. Разве можно было оставить его одного в таком рискованном деле.

Все считали за честь сопровождать начальника в трудном переходе.

Бусик отобрал троих. Больше не могла вместить моторная лодка.

30 июня 1931 года первые изыскатели Индигирки Бусик и его помощник Калинин погибли на третьем пороге.

Сподвижники Бусика обработали материалы экспедиции, положили на карту глубины, распознали и описали камни, разбили вековое суеверие.

В чертежных Иркутска река Индигирка легла на карты упругими извилинами своих берегов...

К Индигирке мы подъехали по убитому ветром снегу. Олени скользили и часто падали. В долине гулял морозный ветер.

Берега Индигирки изрыты стремительными ледоходами. Река широка и величава даже в снежном своем убранстве. У костра мы говорили о том, что скоро Индигирка получит свой флот, загудят по ней советские пароходы, буксиры, поведут счалы барж с грузами. Оживет и этот отдаленный край, и эта советская река будет честно служить сталинскому плану.

Близок Абый.

Сутораха — Арытыбу — Дайдалах — Абый. Немного осталось до городка, в котором, как рассказывают ямщики, два десятка жилых строений.

От Сутораха едем долго по Индигирке и затем горой, то есть, берегом, тальниками.

Индигирский район, один из самых холодных не только в СССР, но и на всем земном шаре. Морозы держатся здесь длительно и устойчиво. Но, как говорит ямщик-якут, нет плохой земли, есть плохие люди. И на этой студеной земле есть свои радости в жизни охотника, оленевода. И еще радостнее труд первого водителя машины, первого изыскателя...

Приезжим рады, как родным. Заброшенная в тайге одинокая юрта, заслышав звон бубенцов, оживает.

В Сутораха ямщик Егор долго объясняет, что до Дайдалаха «берсты средние», от Дайдалаха до Абыя «берсты самые маленькие».

Средние версты — это плохая дорога, будем по ней ехать тихо и долго. Самые маленькие версты — значит: дорога станет лучше, поедем быстро.

Скоро уже третья «луна», третий месяц в пути, а мы еще не добрались до Верхоянского хребта...

Итак, сегодня рассказывается семидесятая сказка полярной Шехерезады. А впереди еще долгий путь.

Наутро, перед самым Абыем, со всех нарт одновременно слышатся восторженные крики:

— Солнце!

Светило не торопится показаться после длительной отлучки. Тускло-огненный шар будто не в силах оторваться от горизонта, он отяжелел от долгой зимней спячки в полярную ночь. Чуть побаловав нас, солнце быстро закатывается, так и не поднявшись над горизонтом.

Девятнадцать дымов над балаганами<sup>[9]</sup> — вот и весь Абый. Нарты скрипят по единственной улочке. Девятнадцать домов! А мы так стремились сюда.

Имя свое городок получил по большому одноименному озеру.

В юрте, где греемся у камелька, мне показывают старательно переписанные в тетрадку стихи о камельке.

Камелек — это жизнь балагана,  
Яркий факел средь мрака и тьмы,  
Он звездою блестит из тумана  
Темной ночью якутской зимы.

Чье усталое сердце не бьется  
На дороге, завидя огонь?  
Даже лошадь быстрее несется,  
Чует отдых измученный конь.

Камелек осветит и согреет,  
Медный чайник с водой вскипятит  
И дорожные думы развеет,  
Сладкой грезой очи смежит.

И забудешь невзгоды дороги.

---

<sup>9</sup> Домами.

Под приветливый треск огонька  
Разувая иззябшие ноги  
В золотой теплоте камелька.

И развесив на грядках высоких  
Рукавицы, чулки, торбаза,  
На ороне<sup>[10]</sup> в мечтах одиноких  
Ты до утра закроешь глаза.

И поток теплоты камелечной  
От мороза тебя сохранит;  
Пусть за стенкой во тьме полуночной  
Плачет вьюга и ветер свистит!

Завтра отъезд в Верхоянск.

В Абые много говорят о наледях, которые нам встретятся, о крутизне Верхоянского перевала. Сейчас январь — месяц морозов и наледей на горных реках. В Абые морозы давно перевалили за пятьдесят градусов.

И здесь, как в колымских городках, плоскокрышие бревенчатые домики, сложенные много лет назад. И здесь над домами при сильных морозах столбом поднимается из труб белый дым.

Абый — центр старой Индигирки. Одна улочка приземистых домов...

Мы ночуем в якутской юрте. С улицы прямо попадаешь в юрту через маленькую, низкую и узенькую дверцу, обитую шкурой оленя.

---

<sup>10</sup> Орон — нара.



## Абый. У якутской юрты

Юрта не разделена на комнаты. Стены имеют форму трапеции. Сложена юрта обычно из лиственницы. Вдоль стен в один ряд нары — орон. На этих оронах сидят и спят. Каждая нара имеет свое назначение и название: придверная (правая задняя), например, расположена налево от двери при входе в юрту. Эту нару отводят обычно для малопочетных гостей. Подоконная нара находится далее под той же стеной, за ней самая почетная нара — билирик. Ее отводят самым дорогим гостям. Затем тянется правая передняя нара. Билирик и правая передняя нары это — «красный угол» каждой юрты. За ними следуют другие нары: левый билирик, левая нара — хангас-орон и кухонный стол.

Окна в юрте размещены слева от входа. В прорези окон вставлены на зиму куски ровного льда. По утрам их очищают ножом изнутри юрты.

У камелька проходит вся дневная жизнь юрты. И никого не смущает то, что от горящего камелька, как фейерверк, с треском разлетаются искры.

Налево от двери помещается обычно мужская половина, направо — женская. Фасадную стену юрты делит пополам камелек — этот «бог балагана». На небольшом глиняно-деревянном основании возвышается с некоторым наклоном широкая труба, сделанная из жердей, крепко перехваченных тальниковыми ветвями и обмазанных толстым слоем глины.

Сквозь трубу камелька можно видеть небо. Труба служит до некоторой степени и вентиляцией юрты.

Женщины тщательно следят за чистотой и сохранностью камелька. Мне приходилось много раз видеть, как якутки старательно ремонтировали свои камельки. И снаружи, и снутри камелек обмазан ровным слоем глины. Глина не позволяет жердям, из которых построен камелек, воспламениться вместе с дровами. Возле камелька сушатся напиленные и наколотые небольшого размера дрова.

Зимой юрты почти погребены под снегом и даже вблизи кажутся снежными хижинами.

Каждый якут в северной тайге — непременно охотник и гостеприимный хозяин. Он приветливо встретит гостя, которого увидел впервые в жизни. Накормит, напоит и уложит спать на почетном ороне. Он знает: случится и ему быть в пути, он так же приветливо будет встречен в любой юрте. Это закон северной тайги, закон гостеприимства, бытующий в Заполярье с древних времен. Заимщик посчитает для себя великой обидой, если проезжий на деньги расценит добрые чувства хозяина юрты. Однако он не откажется от подарка, особенно если подарок предназначен его жене или детям. Это даже доставит таежнику удовольствие.

Отправляясь в путь, абыйские ямщики надевают на себя длинные мойтруки из беличьих хвостов. Если разрезать мойтрук, он вытянется не менее чем на сажень. Мойтрук имеет вид замкнутого кольца. Чем длиннее эта северная шаль, тем легче, закутав шею и лицо, противостоять морозу. В мойтрук якут прячет все лицо, подставляя ветру одни только глаза. Через ворсистый мех легче дышать на морозе, мех как бы фильтрует холодный, вдыхаемый на жестоком морозе воздух и уменьшает его жгучую силу.

У Атыка, как и вообще у каюров-чукчей, мойтрука не было. Эта принадлежность уместна при спокойной езде на оленях. На собачьих нартах каюр непоседлив. В течение дня ему приходится много раз вскакивать, бежать за нартами, поправлять алыки, войдать полозья. Мойтрук будет мешать чукче. Да и морозов нет таких на Чукотке, как в Якутии. Однако не на каждом якутском ямщике я видел эту замечательную меховую защиту: как видно, она дорога и не всем доступна.

Когда от дыхания ямщика мойтрук покрывается ледяной коркой, ямщик поворачивает его сухой стороной. Длина мойтрука позволяет ямщику вертеть его вокруг носа в течение всей дневной поездки от жилья до жилья без опасения поморозить лицо. По пути он аккуратно сбивает сосульки со своей меховой шали. А добравшись до камелька, ямщик в первую очередь сушит свою кольцеобразную шаль.

На всем долгом пути по тайге мы ни разу не видели волчьих следов, зато в каждой юрте я слышу рассказы о медведях. Медведь — «эсе» — в большом почете у якутов. Эсе — значит дед. Но медведя редко так называют из опасения обидеть и попасться к нему в лапы. Медведя чаще зовут «тойоном», что значит хозяин, или просто говорят «он»... Так, очевидно, спокойнее для таежника...

В абыйском кооперативе покупаю мороженую ягоду — морошку. Ее держат в больших бочках, рубят топором и взвешивают на весах кусками.



Несколько ложек этой ягоды придают чаю чудесный аромат. В мороженой ягоде сохраняются витамины.

Запасаясь морошкой до самого Якутска. Кстати, в пути буду угощать детей и стариков в якутских юртах этими великолепными северными «консервами».

Завтра отъезд в Верхоянск, а мороз крепчает. На улицу можно выйти, только укутавшись до самых глаз. Дышу через шарф, но он быстро обледенеет. Опушка малахая также покрывается сосульками. Все заиндеветшие встречные похожи на деда-мороза — не отличишь молодого от старого.

Старожилы советуют мне купить в Абые нарты, чтобы меньше зависеть от почтовых станций и не перегружать на каждой станции вещи. Слушаюсь разумного совета.

Новые нарты уже увязаны. Брезентом затянуты и почтовая кожаная сума, и чемодан.

И вот позади озеро и «городок» Абый, позади Индигирка. Остались где-то в снегах маленькие абыйские домики — балаганы, приплюснувшиеся к земле.

Гремят боталами олени. Полозья звучно скрипят по снегу, хваченному крепчайшим морозом.

Небо затянуло облаками. Видимость уменьшилась настолько, что едва различаешь лес, завешанный туманом.

Ямщик поет песню.



# Через большую наледь и высокий перевал



Из Абыя я уехал с одной нартой. Так скорее можно добраться до Якутска. На одну нарту легче найти оленей, меньше уйдет времени на станционные ожидания.

За нартой на привязи два запасных оленя, белых, как снег.

Едва начинает угасать скоротечный день и сумерки ложатся на Абыйское большое озеро, вдруг мои ездовые олени исчезают, становятся невидимыми, будто они растворились в вечерней полутьме. И вновь кажется, что я на нартах-самоходах. Только вблизи слышна заунывная и протяжная песня ямщика-якута. Медленно, лениво перемежается несколько звуков, из них и сложен мотив простой песни.

Куда гонит ямщик оленей? Темень поглотила Абыйское озеро. Как находит он дорогу в белесой тьме, от которой больно глазам?

Вдруг, рядом с нартами, вырастает вешка — высокий приметный шест. Путь по длинному озеру заботливо обвехован. Где-то вблизи лежит селение. Без этих вешек ямщики сбились бы с пути. Вешки сопровождают нас через все озеро.

Еду без ночевки на выбитых оленях, измученных длительными перевозками грузов по тракту.

В Абые разжился ружьем. Оно надежно привязано к нарте крепкой крученой бечевой. Искусству вязания таежного узла меня научили в Абые. Достаточно потянуть за петельку бечевы, и ружье освобождено, готово к действию. Но против кого? Днем, когда снег залит лучами встающего солнца, видны одни лишь следы зайцев. В каждой юрте близ камелька оттаивает мороженная тушка «тобока» — зайца, задавленного западней. Зайцев здесь неслыханное множество.

Мы в Индигирской или Абыйской низменности. Она занимает огромную площадь от хребта Тас-Хаях-Тах на западе и до склонов Алазейского плато на востоке.

Нарты скрипят по снегу, которым закрыта нескончаемая цепь озер и болот. Двадцать процентов всей площади здесь в озерах и болотах. К счастью, мы едем, не видя заболоченной земли, туч мошкеры и гнуса, роящихся в летнюю пору. Летом здесь не проехать! А зима все заровняла своим снежным покрывалом.

Над озерами и болотцами нависает корявый сухостой. Опять следы бурелома и таежных палов — пожаров. Стволы деревьев стоят по пояс

обугленные. Ни зверя, ни птицы, только нарты скрипят по снегу да ямщик бежит рядом со мной за нартами. Мы греемся в этой пробежке и мечтаем о тепле камелька.

Чем дальше на север забирают наши упряжки, тем разреженной, низкорослей и комлистей становится чахлый лес. В подлеске — кустарниковая береза, кустарниковая ива. Корою такой ивы на Чукотке дубят кожу. А в Анойском районе дубленые тальниковой корой полушубки окрашены в приятный апельсиновый цвет.

Идет к концу морозная зима. Через несколько месяцев освободятся из льдов и наши корабли в Чаунской губе.

Там тоже показалось солнце.

Я смотрю на огненный багровый шар и любуюсь рассветом.

— Учугей! Самый хорошо! — говорит ямщик, показывая на солнце.

Мы понимаем друг друга.

— Сырдан! Светает! — говорит мне ямщик.

Да! Рассветает по всему советскому северу!

На станциях обычная суета и оживление. Когда отсыревшие меховые чулки-чижи перестают греть иззябшие ноги, приходится задерживаться дольше обычного, чтобы обсушиться у камелька, развесив на грядках и обувь, и одежду.

В углу одной из станций, так называют здесь обычный балаган, замечаю молодую женщину с ребенком.

Ребенку около двух лет, но мать кормит его грудью. И собирается кормить до трех лет. Это принято в тайге. Женщина приехала с ребенком издалека, за сто километров погостить к своим знакомым, поговорить — «покапсекать». Пятидесятиградусный мороз для нее не помеха. Вместе с ребенком, которого нельзя оставить дома, она, не задумываясь, отправилась в долгий путь. У станционных пожить интересно, здесь большая дорога, тракт, проезжие... А там, в глуши, где живет эта молодая женщина с ребенком, подолгу никто не бывает и нет никаких новостей.

С каждым днем крепчает мороз. Градусник показывает пятьдесят девять ниже нуля.

Из-за гололедицы и отсутствия ягеля дикие олени бегут косяками на юг. Якуты рассказывают, что осенью дикие олени-самцы отбили у них большое количество домашних самок.

В каждой юрте нас угощают мясом дикого оленя, рассказывают о небывалом набеге зайцев на Верхоянский тракт. Однажды близ Витима на Лене я видел такое же великое переселение белок. Что гнало их из тайги? Лесной пожар? Неурожай кедровых орехов? Голодовка? Переплывали они Лену большими тысячами, подняв высоко пушистые хвосты, точно парус. И много после того выбивало волной на ленский берег утонувших белок...

В первых же станках за Абыем слышим разговоры о «тарыне» — наледи.

— Юрах улахан тарын бар!

— Близка большая наледь!

Чем теплее, тем наледей меньше. Но как только ударят морозы, появляются наледи и страшат ездовых оленей голубыми, студеными озерами.

Мы кружим с ямщиком в туманах, нависших над многочисленными озерами, и деревья в ночном лесу вырастают из мглы перед самой нартой. Едва успеваешь уберечь ноги.

Часто сбиваемся с пути. Тогда ямщик уходит щупать торбазами и палкой потерянную, накатанную нартами дорожку, по которой легче ехать.

С горы на гору, с озера на озеро, из перелеска в перелесок нескончаем наш путь. За Истиняхом на горизонте вдруг вырастают причудливые изломанные очертания фиолетовых облаков. Они острокопечны, подобно пикам, и местами башенкообразны. Чем ближе подвигаемся к очередной станции, тем яснее становится, что это не облака, это горы, хребет, «мульчой камень», как любил говорить Атык. Впереди Тас-Хаях-Тах, северная часть хребта Черского.



## **Караван оленных нарт по пути в Ачигей (неподалеку от Средне-Колымска) пересекает озеро**

Этот хребет состоит из ряда параллельных цепей, разделенных более или менее широкими продольными впадинами. Ширина хребта доходит до 95 километров. По занимаемой площади он равен Кавказу. На севере хребет круто обрывается к приморской низменности. Как часовые, стоят перед нами вершины-гольцы. Отдельные высоты Тас-Хаях-Таха достигают высоты 2 500 метров. Через этот хребет ведут перевалы Ходорот-Кыра (1 200 метров) и Сюгардинский (1 060 м). Нарты ползут и ползут в гору, а мы идем за ними следом, увязая в сыпучем, как песок, снегу.

На перевале ветер. Мелкий снежок бьет в глаза. Спустившись с перевала, сушимся у костра. Плоха эта сушка в зимнюю стужу. Олени рядом с нами усердно копают ягель, бьют копытами и после короткого отдыха едва

волочат нарты. Нелегко шагать за ними в чукотских широченных конайтах по глубокому якутскому снегу.

Пять километров я прошел за оленями. Становится жарко невольно. Снимаю кухлянку и бросаю ее на нарту. Летучий пар клубится облачком. Освобождаясь от шарфа, который явно душит меня. Ямщик не одобряет мои действия. Он идет бодрым ровным шагом. Все дело в привычке, выработанной годами.

Нарты останавливаются. Торопливо одеваюсь. Ямщик решил подкормить оленей и отпускает их. Они сами добудут корм. А перед новым маршем ямщик просит у меня для оленей щепотку соли — лакомство нашим полярным коням. Олени жадно вылизывают соль с шершавых ладоней ямщика.

Падают под ударами топора сухостойные деревья. Огненными языками костер лижет ночную непроглядную темень.

Это, вероятно, еще не последние костры на моем, кажущемся бесконечным, пути к Москве.

Сто километров без людей, без жилья. Ни зверя, ни птицы. Только долгая ночь, ветер да снега, снега кругом.

— Тыл да тыл! — говорит ямщик о ветре.

Видно, ветер и ему надоел.

Из Креста едем без ночевки. На станках — сушка торбазов, короткое чаепитие, часы ожидания перепряжки оленей и — поехали!

Наледей пока нет. Прислушиваемся к хрустящему шуму потрескивающего под пробегающими нартами льда.

Но вот на станции меня предупреждают:

— Улахан-тарын бар!

— Есть большая наледь!

Якуты в Кресте, на абыйской границе, долго говорят между собой, подходят ко мне, щупают, осматривают мою обувь, тревожатся.

Я понимаю, что они опасаются за пассажира. Если я попаду в воду со своими плекатами, мне не сдобровать. Но в станке нет запасной обуви. Вот почему они качают головами. Станционные долго предупреждают молодого каюра, как везти нарты, лишний раз напоминают об осторожности. Только и слышно, «тарын» да «тарын».

Улахан-тарын! Большая наледь! Мы увидели ее издалека. Над льдом клубился туман. Им был затянут весь горизонт. И как только нарты выкатились на горную реку, я услышал звон ломающегося под ногами тонкого льда. По разломанному льду бежит голубая вода. С тревожным шумом она приближается к нарте. Невольно приподнимаюсь, встаю на сиденье. В руке чемоданчик с рукояками и пакетом Козловского. Вода сейчас промочит обувь, поморозит ноги.

Сегодня теплее, чем обычно. Всего тридцать два градуса ниже нуля. Олени идут вперед по воде, словно посуху. Они шагают по подводному льду. Мы окутаны туманом. С нарты видны только зады оленей, их короткие хвостики и больше ничего ни позади, ни впереди. Вдруг олени скользят по



льду, закрытому набежавшей водой. Они никак не могут сдвинуть с места попавшие в наледь нарты. У барана нарты быстро наторашивается горка тонкого льда. Откидываю его, стараясь облегчить работу оленям. Волчьи, пушистые рукавицы, замоченные в воде, вмиг леденеют, становятся твердыми и при ударе друг о друга звенят.

Молодой ямщик встает с нарт и смело ступает в ледяную воду. Он тянет за повод оленей, отказывающихся итти дальше. И вот ямщик поскользнулся и сел в воду. Пропал мой ямщик! Но на его лице я не вижу и следа испуга. Он только пуще ругает своих оленей:

— Кухаган!

Его одежда тоже покрылась ледяной коркой, будто глазурью. Не обращая внимания на это, он тянет как ни в чем не бывало оленей из опасного места.

Вода все прибывает. Она подходит уже к бортам нарт и скоро захлестнет кукуль и чемодан. Тогда зря, значит, ехал я в такую даль, — не восстановишь ни записок, ни пакета... Вдруг нарты тронулись. И мы через минуту на твердом настиле, свободном от воды.

Ямщик спокойно оббил прутиком ледяную корку, покрывшую его штаны и обувь.

Нарты бегут по льду и камням, которыми завален берег горной реки. На этих камнях олени чувствуют себя удобнее и тянут из последних сил. Ледяная дорога перестала ломаться под нартами. Она надежна и тверда.

Кажется, настал конец наледям. Но в станке старик-хозяин предупреждает меня:

— Впереди — Курелкан! В Курелкане — улахан тарын!

Опять наледь.

Старик утешает: — Еще одна только наледь и конец!

И снова ямщик гонит оленей в морозную воду, излившуюся на поверхность реки.

Один из основателей советского мерзлотоведения М. И. Сумгин в своем труде «Вечная мерзлота» дает следующее классическое и вместе с тем поэтическое описание речных наледей, этого своеобразного явления, столь характерного для нашего северо-востока<sup>[1]</sup>.

«В области вечной мерзлоты зимою, — пишет М. И. Сумгин, — чаще в середине зимы, реже в начале или в конце ее при морозах от 30 до 50° вы увидите воду, выступающую на поверхность льда реки. Вода эта обычно медленно растекается по льду или по покрывающему ее снегу и намерзает на нем слой за слоем. Иногда вода выступает на снег, хотя и широкой полосой, но таким тонким слоем, что не успевает просочиться сквозь снег и, замерзая, оставляет под тонкой корочкой образующегося льда рыхлый, совершенно сухой снег. Иногда вода идет в значительном количестве и, смешиваясь со снегом, лежащим на льду реки, образует киселеобразную массу, которая затем и замерзает. Бывают и катастрофические мощные

<sup>11</sup> Сумгин М. И. Вечная мерзлота. Изд-во Академии наук СССР, Л., 1931, стр. 45–50.

потоки воды. Следующие за первым потоки воды намерзают слоями льда на предыдущие, и в результате образуются толстые ледяные слои в 2–3–4 метра мощности. При низких берегах вода выступает в долину реки и заливает ее. Это и есть **речные наледи**. Над ними во время их действия поднимается туман, и вы еще издали узнаете, что перед вами действующая наледь, река, по местному выражению, «кипит». Действительно, издали вид на «кипящую» реку очень напоминает вид на горячие источники с поднимающимися над ними парами. Да и физический смысл явления один и тот же: и здесь, и там поднимающийся туман есть следствие значительной разности температур воды и находящегося над ней воздуха. Если вода горячего источника имеет температуру, скажем, 60–70°, а находящийся над ними воздух 20–25°, то разность температур в 35–40° и обуславливает образование тумана.

То же самое мы имеем и в случае наледей, вода которой имеет температуру, близкую к 0°, а воздух над ней около –40°. И здесь разность температур воды и воздуха порядка 40°. Пары, выделяющиеся из наледной воды, сгущаются в холодном воздухе в туман.

Картины наледных явлений своей контрастностью приковывают к себе внимание любознательного путника. В самом деле, он видит кругом пелену снега, деревья, лишенные летнего покрова, реку, скованную льдом, и на этот лед в облаках тумана выступает вода и течет по нему при крепком зимнем морозе. Речные наледи иногда бывают огромными по занимаемой площади. Так, Кыра-Нехаранская наледь (на дороге из Колымска в Якутск) занимает площадь более 100 кв. километров. Вода в речных наледях выступает или на контакте льда реки с береговой галькой, или же лед реки в каком-либо месте вздувается бугром иногда значительной величины, вершина бугра трескается и вода выливается из трещины. Выливаясь, вода намерзает на бугре, образуется конус с отверстием в вершине и вода или льется из этого отверстия, или стоит в нем, как лава в жерле миниатюрного вулкана, а затем опять начинает выступать на поверхность льда».

Далее Сумгин приводит теорию образования речных наледей, предложенную горным инженером Подьяконовым в 1903 году. Сущность этой теории Сумгин сводит к следующему:

«Прежде всего Подьяконов подчеркивает, что реки текут не только открытым руслом, но что известная часть воды сочится в тех водонепроницаемых слоях, которые находятся как под дном реки, так и вообще в речных наносах ее долины. С наступлением морозов река покрывается льдом, который постепенно утолщается. Наступает момент, когда живого слоя сечения русла становится недостаточно, чтобы пропускать всю воду реки. Пусть ложе долины реки, в частности, русло имеет или естественную водонепроницаемую породу, или же такой породой является мерзлый грунт, подстилающий долину реки. Создается напор воды и она из русла бросается в слои речных отложений своей долины, вызывая подъем грунтовой воды в наносах долины. Под влиянием усиливающегося напора вода выходит на поверхность или льда реки, или почвы ее долины там, где сопротивление напору меньше. Эта вышедшая на поверхность льда или почвы, или снега вода дает наледный лед.

Если выход для воды затруднен, а напор силен, получаютсЯ вздутия льда или почвы вместе со льдом — наледные бугры, которые дают трещины на поверхности или радиально, или одну большую продольную трещину с мелкими боковыми ответвлениями от нее. Морозы усиливаются, лед реки утолщается, почва промерзает глубже, живое сечение потока уменьшается и тем создаются условия для поддержания длительного выхода части речной воды наружу, а следовательно, и для накопления наледного льда. Высота льда наледи является показателем напора воды, образующей наледь. Прекращается напор, прекращается и действие наледи: с возобновлением напора наледь возобновляет свою деятельность.

Если в каком-либо месте реки живое сечение русла все промерзнет, промерзнут также водоносные слои долины или если водоносных слоев нет (река течет по скалистому ложу), тогда вся вода потока выходит на поверхность и образует наледь...»

Н. И. Толстихин называет наледью «ледяное тело, являющееся продуктом замерзания природной поверхностной или подземной воды, излившейся на поверхность льда, снега, земли и в пределах деятельного слоя в результате промерзания того водоносного тракта, по которому обычно эта вода циркулирует»<sup>[12]</sup>.

Наледь по-якутски «тары́н». На каждой станции я слышу это слово. Ямщики тревожно рассказывают друг другу о том, как они преодолевали тарыны и как лучше их преодолевать. И вот наступил конец этим разговорам. Конец тарынам!

— Тарын суох! — поздравляет меня ямщик.

На пути к Якутску не будет больше тарынов.

Еще двадцать восемь раз придется перепрыгивать оленей, прежде чем доберутся нарты до Якутска. Еще двадцать восемь станций на пути к Якутску. А за ними воздушная станция. Самолет помчит меня над Леной и тайгой к Иркутску...

Значит, двадцать восемь раз придется мне ладиться с ямщиками, задабривать их чаем, табаком, еще много ночей не спать и грезить о Москве, такой бесконечно далекой и такой бесконечно близкой.

Уже седьмой день, как я расстался с Абыем. Новые нарты служат честно. Раз увязавши в Абые свою незатейливую поклажу, я больше не возвращаюсь к этому скучному делу. Груз ночует постоянно за станционной юртой и никто не покушался на него.

Вот и Верхоянск. Он встречает нас милостиво: мороз всего лишь пятьдесят один градус. Городок в тумане.

Но можно различить отдельные строения. Они не похожи на колымские. Я вижу дома с двускатными крышами, с застекленными окнами. Вот мы проехали мимо магазина. Вот домик с крыльцом... В тумане мне кажется, что город большой, так долго едем мы в поисках ночлега...

<sup>12</sup> Толстихин Н. И. Вечная мерзлота или мерзлая зона земной коры. Проблемы советской геологии, № 8, 1935.

Мы в окружном центре Якутской республики. До железной дороги отсюда немало: 3 675 километров! Жителей здесь около пятисот человек, преимущественно якутов-охотников и скотоводов.

Сначала Верхоянский острог был построен на реке Дулгалах, в ста километрах на юго-запад от теперешнего города, но затем был перенесен на левый берег Яны и получил название Верхоянского зимовья.

Городок стоит в низком болотистом месте. Почти у каждого дома имеется озерко. Однако для питья озерная вода не годится в летнюю пору. И здесь, в Верхоянске, каждый житель запасается на круглый год льдом — своим питьевым запасом.

До Якутска еще девяносто километров.

Я вижу нарты, прибывшие сюда из Якутска. Везут груз в Абый. Люди пробираются с почтой по разным северным уголкам вплоть до Нижне-Колымска... Они уже взбирались на сумасшедшую крутизну Верхоянского перевала. Мой путь на этот перевал...

Городок весь в тумане. И снова, как обычно, в большом селении, я не знаю, куда постучаться. В тайге стучишься в первую и единственную юрту. Знаешь, что всюду встретишь приют. Путнику деться некуда... Входишь в чужой дом, как в свой, и встречают тебя везде, как своего. Балаганы устроены все на один лад. Все совершенно однотипны и потому давно тебе знакомы. Но как быть путнику в городе? Можно ли постучаться в любой дом? И как встретят бородатого, страшного, обмерзшего, засыпанного снегами человека, в чукотской необычной одежде, в расшитой длинной анадырской кухлянке, меховых чукотских широченных конайтах-штанах и плекетах-щеткарях?...

Спрашиваю:

— Где живет доктор?

Полагаю, что доктор примет меня без долгих объяснений.

Мне указывают на дальнюю избу. Иду к ней. Вхожу без стука, по-таежному, смело. И вдруг на меня из дальнего угла комнаты идет полярный волк. Такого не видел никогда. На спине характерная черная полоса. Зверь идет прямо на меня. Если повернусь к нему задом, — конец!

Смотрю в глаза волку и думаю: пропал! А он, ткнувшись мордой в мои колени, не обращая никакого внимания на мое геройство, поворачивается вдруг задом ко мне и продолжает совершать свою торопливую прогулку по диагонали.

— Вася! — слышится голос из соседней комнаты.

И волк, поджав вдруг хвост, послушно, как собака, уходит в другую комнату.

Показывается хозяин — молодой доктор Мокровский. Мы знакомимся. Доктор — энтузиаст советского Севера — влюблен в Север.

Он подобрал маленького волчонка в тундре и воспитал его. Доктор собирается воспитать еще двух волков, научить их ходить в нартенной упряжке, чтобы затем после окончания срока своей работы на Севере,



поехать на волках в Якутск, как ездил за невестой сказочный чукотский герой Рольтыргин.

Вася — крупный переярок. Ему около году. Заслышав голос хозяина, он раболопно жметса к самому полу и ползет на брюхе, выражая этим преданность своему хозяину-кормильцу и воспитателю. Как-то странно видеть волка, которого кормит человек — его постоянный враг.

Вася таскает поноску, знает свою кличку, дружит с собаками, ладит и играет с ними, как с волчатами. Щенок «Пират» играет с волком, а собака «Венерка» даже кусает иной раз Васю, и тот... молчит.

У самого дома две якутские собаки. Доктор подзывает к себе «Хаймута», прибежавшего с горы. «Хаймут» ведет полудикую жизнь. Его кормят собственные ноги. Не побегаешь, — не поешь. Здесь и лошадь, и коровы, и олени на подножном корму.

Доктор Мокровский не только лечит, он обучает медицине молодых якутов и якуток. К нему охотно идут на прием жители далеких станков — таежные люди. Якуты знают, что они встретят в больнице приветливого врача, радушного хозяина, большого мастера своего дела.

Ночью вместе с доктором любуемся северным сиянием. Оно протянулось лентой по всему небу, осветив ночной Верхоянск. Такого сияния я не наблюдал даже на Мурмане, где они особенно красивы.

На улицах города слышен волчий вой. Это воют ручные волки, воспитанные верхоянцами. Раскатисто гремит унылая волчья песня.

Наутро Верхоянск затянуло густым туманом. Над лошадьми, обросшими густой шерстью, облако пара. Под полозьями певуче скрипела утоптанная ветром дорога.

Впереди — Верхоянский хребет, водораздел между бассейнами Яны и Лены.

Поднимаемся в гору пешком за нартaми. Ветер поработал в тайге, повыкорчевал деревья. На десяток километров валяются лиственницы, распутив веером свои омертвевшие корни, похожие на морские звезды огромных размеров.

Нарты бегут по Ямской Якутии. Быть может, через некоторый отрезок времени этот тракт будет гигантской улицей индустриальной Якутии и, подобно Москве, здесь протянутся якутские — ямские улицы. Первая, вторая, третья, четвертая Ямские — по теперешним трактам Якутии.

Мы спускаемся на юг от нижнеколымской широты. Доктор Мокровский провожает меня немного. Волк хорошо тянет его легкую нарту. Но, завидя след зайца, непременно сворачивает по следу. Доктору стоит много усилий вернуть волка на дорогу.

Близок Верхоянский перевал Тукулан. Верхоянский хребет имеет крутой склон к долинам Лены и Алдана, иногда почти в виде отвесной стены. Нечто подобное мы увидим в Тукулане. Так обещают мне ямщики.

На столе теньюрэхской почтовой станционной юрты вывешено объявление управления связи Якутской республики:



«Настоящим ставлю в известность проезжающих с почтой пассажиров и почтальонов, что ввиду наличия на прогоне большого, крутого, горного хребта, требовать перевозки через таковой в ночное время ввиду опасности для проезжающих и оленей воспрещается».

Теньюрэх стоит в лесу и окаймлен крутосклонными горами. Горы голубеют снегами, и издали кажется, что это облака застилают горизонт. Поднимаемся все выше и выше. Подъем некрутой, и олени берут его бодрым шагом.

И вот гребень перевала. Камни насупились под снеговыми шапками. Много страшного и чудесного рассказывали мне ямщики о Верхоянском перевале, уснащая рассказы чертовщиной. Но перевал не кажется страшным, чему, вероятно, благоприятствует ясная солнечная погода.

С вершины вниз круто бежит дорожка, по которой сойдут сначала наши нарты, а за ними и я с ямщиком. В гололедицу здесь, наверное, действительно опасно.

Ямщик останавливает оленей. Он спокоен. Спокойны и олени. Покулив перед спуском, ямщик взбирается на высокий камень и оттуда, как с капитанского мостика, оглядывает дорогу: не оголился ли где путь, не торчат ли опасные камни из-под снега? Ямщик подпрягает оленей позади нарты вместе с запасными. Сейчас олени будут лишь тормозить спуск нарт, не давая им разогнаться.

Снимаю кухлянку, чтобы легче было спускаться. Иду по податливому снегу, торможу палкой, как Атык некогда остолом тормозил бег своей нарты. Инеем расцвечена моя рубашка, выделанная из пыжика. Жарко. Откидываю на спину малахай. Ямщик уже спустился вместе с нартами и раскатисто-громко приглашает меня к себе. Далеко внизу виднеются у нарт олени, маленькие, будто собачки.

Вот уже половина спуска. Вдруг проваливаюсь в мягкий снег. Меня мчит вниз крутизна. Торможу палкой, взрывая пушистый снег, облаком стелющийся за мной. Чукотские плекеты скользят и скользят по снегу. Я быстро, словно на нартах, достигаю места стоянки ямщика. Он весело поздравляет меня с благополучным спуском.

...На станции Меркиге прощаюсь с оленями. Отсюда к Якутску меня повезут кони. Я не услышу больше гойканья ямщиков, сзывающих оленей в тайге: гой-гой-гой! Мя-мя-мя!

Приближаюсь к столице социалистической Якутии. За Алданом-рекой юрты стали попадаться все чаще и чаще. Тайга пересечена здесь изгородами, выгонами для скота. Чувствуется близость большого города.



# В столичном городе



Сто двенадцатый день едут мои нарты.

Сколько рек, озер, лесов, гор, сколько станков, заимок осталось позади.

И когда, наконец, из таежного лабиринта мы с ямщиком выбираемся на широкую Лену, вдруг явственно слышится гудок. А может, почудилось мне? Откуда гудок в этом безмолвии?

Нет, призыв гудка разносится над Леной. Я не ослышался. Мне не почудилось. Это заводской гудок! Это привет из Якутска!

Светит луна! Четвертая по счету на моем пути. Четвертый месяц приходит к концу с того дня, как за нартой раздался выстрел Козловского.

Якутск встречает нас туманом. Он настолько густой, что не видать ни улиц, ни домов.

Утро якутской столицы. Извозчики снуют по мостовой, слышен звон бубенцов да скрип полозьев.

Якутский острог на Лене был основан в 1632 году горстью енисейских казаков под предводительством сотника Петра Бекетова на урочище Гимадай. На теперешнее место город перенесли через десять лет после его основания. Крепость была обнесена в семнадцатом веке частоколом. Пять крепостных башен огорожены палисадом. В 1824 году крепостные стены и частокол были разобраны. От всей этой старины я увидел лишь одну уцелевшую крепостную башню. При Петре I Якутск был включен в состав Сибирской губернии, а затем, при реорганизации, — в Иркутскую провинцию. При Александре I Якутский край, как отдельная область, находился в подчинении Иркутску. С 1852 года до февральского переворота Якутская область находилась под начальством гражданского губернатора. В 1919 году, после окончания двухлетней гражданской войны, в Якутии установилась советская власть, а в 1922 году была провозглашена Якутская автономная советская социалистическая республика.

От города до Лены наименьшее расстояние около семи километров. Самый город расположен на левом берегу ленской протоки Хатыстах.

Сибирские реки стекают в Ледовитый океан. В своих истоках реки зажаты в узких каменистых теснинах — чеках, а, вырываясь на простор, дробятся на многочисленные протоки и по веснам во время ледохода перепахивают гигантской бороной свои русла.

Реки уходят нередко от селений, у которых стояли искони, образуют новые острова — осередыши — или вдруг приближаются под самые заборы селений.

Я вижу за Якутском высокий берег.

— Это Лена? — спрашиваю якутского жителя.

— Это была Лена много тысячелетий назад. Это ее старое русло, где теперь растут леса. Нынешняя Лена направо от нас.

При мне жители города брали воду из главного русла реки, и многие, как и в Верхоянске, запасались льдом для питья...

От тумана не стало никакой видимости.

Я придерживаюсь облучка своих нарт, чтобы не потерять их в тумане.

Мы у почтамта. Сдаю, наконец, большую кожаную сумку. Итак, долг перед товарищами выполнен. Письма моряков доставлены на центральный якутский почтамт. Отсюда они пойдут обычным порядком. При мне остался только пакет Козловского — доклад в Наркомвод, — его надо доставить в Москву.

Днем, наконец, я увидел город, освобожденный от тумана.

Впервые за время скитаний встретил автомобиль — полуторатонку. На зеленом кузове значится: «ЯКУТСЕЛЬСООЮЗ».

По улицам Якутска один лишь я хожу в чукотской одежде, обросший сосульками, обсыпанный снегом, и все с любопытством смотрят на меня.

Люди одеты по-городскому. Изредка, вместо пальто, встречаются короткие дохи, вместо торбазов — катанки. У кинотеатра толпится молодежь. Продается сегодняшняя газета «Социалистическая Якутия». Афиши зовут в драматический театр. Работают парикмахерские, баня, открыты магазины. В учреждениях треск телефонных звонков.

Каждый раз, когда в таежном мраке вдруг вспыхивал сноп искр приветливого камелька, я радовался ему и, низко пригибаясь, входил, не стучась, в дверь гостеприимной юрты. Но в большом столичном городе, где много улиц, просторных, благоустроенных домов и множество людей, я снова, как в Верхоянске, теряюсь, не зная, к кому постучаться.

Я налегке. Почтовая сума сдана. Нарты подарены ямщику. К кому итти теперь?

Здесь не Верхоянск. Неудобно постучаться к доктору. Да и докторов-то здесь немалое количество. Искать моряков или речников: пропутаться до темноты!

Иду в редакцию газеты. Здесь приняли меня тепло, ощупывали мою чукотскую двойную одежду, диковинную для Якутска и, в особенности, рукавицы из лапок полярного волка. Напили горячим Чаем. Я отогрелся и перечитал залпом комплект газет за целый месяц, так соскучился по печатному слову.

Несколько дней прожил в Якутске.

В якутском архиве я разыскал интересные записи о прежних путешественниках с Лены на Колыму. Мне показали список с отписки (копию с донесения) служилого человека Якутского острова Тимошки Булдакова...

«О плавании его по Ледовитому морю,  
о прибытии на Колыму

и о принятии в свое ведение Ковымского ясачного зимовья».

На списке дата: 1651 год, 10 февраля.

Я выписал наиболее интересные места из этого списка. И каким легким показалось мне мое путешествие на собаках по сравнению с путешествием на кочах служилого человека Тимошки Булдакова, о котором можно написать волнующую повесть.

Вот эта запись:

...«Стояли ветры противные и до заморозу и на Лене взял замороз и зимовали в Жиганех... и, какплыли из Жиган вниз по Лене-реке к морю и, всплыв к устью-морю июля во второй день, стояли у усть-морья за ветры четыре недели, потому что были ветры с моря к земле прижимные; и как пособные ветры учили бить и мы, Тимошка, побежали на море и прибежали к Омолоеве губе и на Омолоеве губе стоит лед и с тем льдом восемь дней носило морем...

...а земли впрямь не нашли... и волею божией, грех ради наших, с моря вода прибыла и почала лед ломать, а тот лед толщиной был в поларшина, и как понесло в море со льдом вместе, скорее парусного побегу, и кочи переломало и носило нас в море пятеры сутки, и ветра потихли и почали почемеержи мерзнуть и как тонкой лед почал подымать человека, и мы с товарищи, не хотя на тех кочах напрасной нужной смертью помереть без дров и без харчу и с соляной морской воды перецынжали, а в море лед ходит по водам и без ветру и затирает теми льды заторы большие и из тех кочей хлебные запасы на лед выносили... и служилые люди... мне, Тимошке, говорили:

Идем-де мы другой год и государево хлебное жалование и харч дорогою съели и морем идучи долгое время, в море без дров и без харчу и с соляной морской воды перецынжали, а преж сего такого гнева божия не бывало и не слыхали, кто тем путем морским не бывал в таком заносе.

И как мы, Тимошка, со служилыми и торговыми и промышленными людьми пошли с кочей к земле, а в те поры в море льды ходят и достальные кочи ломает и запасы теми льдами разносит, и мы на нартах и веревках друг друга переволачивали, и с льдины на льдину перепихивались и, идучи по льду, корм и одежду на лед метали, а лодок от кочей с собой не взяли, потому что, морем идучи, оцынжали, волочь не в мочь, на волю Божию пустились, а от кочей или по льду до земли девять дней и, вышед на землю, поделали нартишки, лыжишки, и шли до устья Индигирки, с Устья-Индигирки вверх по Индигирке к ясачному зимовью к Уяндине-реке с великою нужею холодни, голодни, наги и босы...»

Только на третий год, больные цынгой, казаки дошли до Колымского ясачного зимовья.

Служилый человек Якутского острога Тимошка Булдаков отважился, подобно своим современникам, плыть Северным морским путем на кочах,



плоскодонных палубных, мореходных парусных судах. Шились кочи ивовыми вицами — раздвоенным ивовым корнем, скреплялись деревянными гвоздями, всаженными в проверченные дыры, конопатились мохом, промазывались в швах сырою смолой-живицей. Паруса поднимались из полувыделанных шкур. Грузоподъемность коча достигала двухсот пудов. Якорями служили большие камни, спускавшиеся на плетеном ивовом канате. Без ветра эти суда ходить не могли, и нередко ветер служил причиной гибели и коча и людей.

На таких кочах хаживал Михаил Стадухин. На таких кочах уходил в свой исторический рейс Семейка Дежнев.

Ныне капитан якут Богатырев, известный на Лене речник, ходит на советских отличных пароходах по своей родной реке. Он воспитал поколение речников-якутов. Ныне и на Колыме плавают речники-колымчане.

Ходят по Северу советские морские корабли, пробиваясь сквозь льды. Ходят для приобщения огромного северного края к социалистической жизни. Вместе с моряками идут на север «служилые люди» — инженеры, геологи, географы, доктора, педагоги, строители. На пустынных местах возникают поселки и города.

Бывало прежде, приступая к большой работе, якуты подвешивали на лиственицах цветные тряпки, увязанные веревочкой, свитой из конского волоса. Эти цветные лоскутья, собранные в пучок, назывались салама, дар якута почетному дереву. Якут, проходивший на охоту, рыбную ловлю или покос, выбирал лучшее дерево и на него вешал салама, бросал перед ним в разные стороны масло. Этим задабривал духа Дойду-Иччитэ (хозяин страны). Говорил ему якут:

— Хозяин поля и леса, я пришел сюда опять на работу, угощаю тебя тем, что у меня есть, и прошу оказать поддержку в моей работе.

Нет, теперь якуты не вешают салама! Теперь сам якут стал хозяином полей и лесов.

На якутском аэродроме я вижу «колдунчик» — ветроуказатель. Вот новое якутское «салама». Всего лишь несколько лет назад до появления якутской авиалинии можно было попасть из Иркутска в Якутск летом водным путем, а зимой на лошадях. Ныне советские воздушные кони — самолеты — мчат людей и грузы над Якутией из конца в конец за тысячи километров.





## **Древняя сторожевая башня Якутского острога**

Те самые самолеты, которые снились мальчику-якуту Андрюше Слепцову, разложившему большой костер в тайге в честь рождения великого человека.

Оправдалась надежда деда — старика Слепцова, товарищ Сталин прислал в тайгу быстролетающие машины-нарты.

От старого якутского бревенчатого острога, некогда построенного здесь казаками, сохранилась до наших дней одна лишь башня.

Строится новый, советский Якутск. Бревенчатыми высокими корпусами поднимаются в столице Якутии новые здания.

Мороз пятьдесят восемь градусов. Весь Якутск снова окутан туманом. И только в полдень улучшилась видимость.

Я стою на берегу зимней Лены. Неохватна ее богатырская ширь. Вблизи — стройка. Это будущая центральная электрическая станция. У ленского великого водного пути, уходящего до Ледовитого океана, на цементных башмаках поднимаются ее корпуса.

Собаки, олени, кони, самолеты — живая диаграмма движения! Жирник-ээк, камелек и лампочка Ильича — живая диаграмма света и тепла!

Первым пилотом над Леной летал Ефим Михайлович Кошелев, один из ветеранов советской морской авиации. Я встречался с этим мужественным человеком в Ледовитом океане. Некогда Кошелев летал на фронты гражданской войны. Он первым залетел на остров Врангеля.

Кошелев рассказывал мне, как впервые он сажился на северной Лене, где никогда до того не видели самолета.

— Думали, что зверь какой летит, обстреливать нас собирались охотники. Прилетели к Булуну. Когда виражил, видел народ, а сел — никого! Что за чудо! Надо самолет вытаскивать, одним летчикам эта работа не под силу. Стоим, ждем. Прождали минут двадцать, показывается один местный житель. Вижу у него значок на груди. Я к нему:

— Что же ты, милый, нас опасешься, а у самого аэроплан на груди! — и тычу ему легонько пальцем в значок.

Он засмеялся.

— Помощь нам нужна, милый, люди нужны! — говорю я ему.

Он засмеялся, убежал. Народ собрался, помогли. Расхрабрились жители, просят покатасть на самолете.

Взяли двух якутов в машину, дали полный газ и — в воздух!

Сидят наши пассажиры, напыжились, глазами водят по сторонам, а шеей не двигают. Прилетели на место, подходит к нам один из пассажиров и говорит:

— Тут недалеко, километрах в пятистах, именины у товарища, нельзя ли на вашей быстрой нарте туда махнуть?

Мы объяснили ему, что скоро здесь пройдет воздушная линия, тогда можно будет хоть на именины, хоть на свадьбу летать. А сейчас бензина — в самый обрез!

Пассажир остался явно недоволен.

Летчик Кошелев сказал правду жителю Якутии.

Якутское небо расчерчено ныне авиалиниями. На север, на юг, на восток каждый день летят из Якутска самолеты.

Якутия снабжается не только по суше, но и по воздуху.

Советскими моряками совершенно открытие Якутии с моря. Каждый год идут в Тикси морские караваны с грузами для социалистической Якутии.

Реки Якутии обзавелись пароходами и баржами. Недавно дикие и необследованные, они служат социализму вместе с другими реками Советского Союза.

Я видел фундамент Якутской теплоцентрали.

Я видел новостроящуюся электростанцию, кожевенный завод, затон и лесопильные заводы.

В царское время говорили:

«Якуты должны быть счастливы, что необразованны, иначе бы они поняли, в какой нищете живет их народ».

Грамота проникла теперь в самые отдаленные якутские юрты, к самым берегам Северного Ледовитого океана.



## **Речные пароходы и баржи следуют морем Лаптевых из устья Лены на Колыму**

И якуты счастливы потому, что теперь, овладев грамотой, они идут далее к овладению богатствами своей большой земли.

Якутские рабочие счастливы, что получают образование, и понимают, в каком богатстве будут жить все свободные народы Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

Телефон, радио, самолеты приблизили к Москве самые отдаленные уголки Советского Союза, а еще больше приблизило к Москве людей с далеких окраин учение Ленина — Сталина.

Чукотский окружком партии шлет своих лучших людей учиться в Хабаровскую краевую партийную школу. Якуты у себя в родном Якутске овладевают теорией марксизма-ленинизма.

Якут и чукча командуют судном, ведут самолет, пишут научные труды, лечат своих сограждан, учат их в школе...

Якут и чукча работают на радиостанции, ездят на нартах с лекциями по тайге и тундре, руководят жизнью на своей северной земле. Они знают, что такое сталинская пятилетка, что дает она стране и как поднимает Якутию и Чукотку.

Не обманывают чукчу, как прежде, американцы-контрабандисты. Закрыта им навсегда дорога к советским окраинам. Советская торговля — в руках советских людей на нашем Севере.

— Меченьки! — Хорошо! — говорят чукчи про новую жизнь.

— Учугей! — Хорошо! — говорят якуты.

— Учугей! — Меченьки! — говорят они посланцам Сталина — ученым, морякам, летчикам, работающим на Крайнем Севере.

Теперь уже не ездят полгода, подобно Там-Таму, из Островного в Анадырь. Такое расстояние покрывается за день. Не дивятся северные люди, завидя самолет.

Я смотрю на бревенчатые постройки Якутска, на его старинную сторожевую башню, служившую некогда одной из опор якутского острога, и вспоминаю стихи декабриста Рыльева.

В стране метели и снегов,  
На берегу широкой Лены,  
Чернеет длинный ряд домов  
И юрт бревенчатые стены...

Всегда сурова и дика  
Сих стран угрюмая природа;  
Ревет сердитая река,  
Бушует часто непогода,  
И часто мрачны облака...

Никто страны сей безотрадной,  
Обширной узников тюрьмы,  
Не посетит, боясь зимы  
И продолжительной и холодной...

В эту страну стали ссылать при царе Алексее Михайловиче. Ссылали сюда чернокнижников за «тайное и богомерзкое общение с нечистой силой». Ссылали сюда участников московского «медного» бунта. «На жительство на Лену» отправлялись стрельцы. Много декабристов томилось в якутской ссылке. Здесь были Бестужев-Марлинский, Муравьев-Апостол. Здесь были польские повстанцы. В Вилюйском остроге находился великий русский патриот, ученый и революционер Николай Гаврилович Чернышевский. Ссылались в Якутию и народовольцы. За отказ присягнуть новому царю Александру III был сослан в Якутскую область писатель Короленко. Будучи ссыльным в Перми, он не подписал предложенный ему «присяжный лист»... В Якутии Короленко написал свой знаменитый рассказ «Сон Макара».

Отбывал якутскую ссылку Серго Орджоникидзе, Емельян Ярославский и другие большевики. Серго Орджоникидзе, ближайший соратник Великого Сталина, был членом первого якутского Исполкома.

«Жалкой город» Якутск имел сто лет назад две с половиной тысячи жителей, около трехсот домов, шесть церквей, один монастырь, одно учебное заведение, одно богоугодное заведение, пять лавок, девять питейных домов.

В Якутске в 1933 году было двадцать пять тысяч жителей и из них — шесть тысяч рабочих.

Помимо обычных средних школ, в городе — педагогический и сельскохозяйственный рабфаки, техникумы: пушного хозяйства, речной, рыбный, связи, где учится якутская молодежь из наслогов, глухих селений, раскиданных в тайге.

В городе я видел кинотеатры, клубы, национальный якутский театр со студией.

На окраине города старик-мичуринец с седыми отвисшими усами, словно чародей, вырастил для Якутска под стеклами теплиц дыни, арбузы, кабачки.

Геологи вызнали тайны якутских гор, разыскали ценные полезные ископаемые, приумножили богатства Советского Союза.

От Якутска на юг идет авиалиния огромного протяжения.

Ни одной аварии не было на линии в течение всей первой пятилетки воздушной якутской линии. И это, несмотря на шестидесятиградусные морозы, частые туманы, пургу.

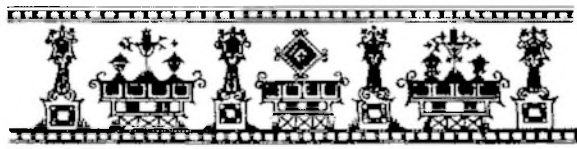
В «Социалистической Якутии» я читаю о якутских спортсменах.

Меняется лицо Якутии. Как непохожа она на ту страну, которую в таких подробностях описали прежние ее исследователи, жившие до эпохи Сталина.





# Над Якутией



Начальник якутского аэропорта держит в руке стартовые знаки — голубой и красный.

Голубой: «Разрешаю полет!».

Красный: «Запрещаю!».

Нам вскинут голубой флаг.

Небо ясное. Мороз 61°. Середина февраля.

Пилот в собачьем комбинезоне, мехом наружу, в меховой маске, похож на огромного медведя. С удивительной ловкостью он залезает в пилотскую кабину и уверенно ведет самолет.

Под нами проносятся берега великой сибирской реки. Снег и леса. Леса и горы. Волнующий гул моторов напоминает о том, что меня мчит теперь другой ящик — летчик якутской авиалинии.

На аэроаirstанции в Якутске два дня мы томительно ожидали благоприятной погоды. И все-таки погода за Якутском обманула нас. Недолго любовались мы Леной. Туман накрыл реку и спрятал ее красоты от нас.

Поверх маски на пилоте мохнатый меховой шлем. Путь от Якутска к Иркутску пилот знает так же, как Атык знает свою тундру.

Мерно шумит мотор. Из снежной мглы время от времени выбегают лесистые берега и затем снова скрываются в дымке тумана.

Мотор неожиданно замолкает. Пассажиры тревожатся. Но один из них, бывалый человек, объясняет, что, должно быть, замерзло масло в маслопроводе.

— Не беда! — утешает он товарищей. — Сядем, масло разогреют и опять в дорогу! Мороз-то якутский, шестьдесят градусов с копейками...

Пассажирская кабина отапливается, но все же в ней минус десять-пятнадцать градусов. Чукотская одежда спасает меня от холода.

На ближайшей станции масло подогревают на примусе. Снова в воздухе. На короткий срок туман раздернуло, мы видим причудливые каменные столбы, останцы выветривания на крутом берегу Лены. Они высятся подобно развалинам старинных башен. Ветры и пурги обточили эти кигилихи, что значит по-якутски «человеческий». Порою они, действительно, похожи на окаменевших людей...

Олекминск дал хорошую погоду, но она изменилась. Пилот сбавляет обороты, чтобы лучше присмотреться. Летим так низко, что на Лене видны заструги и каждый торос.

Машина садится на кочковатую площадку, отгороженную забором из молодых елок, недавно срубленных и воткнутых в снеговые кучи.

Это запасная авиаплощадка. После трех часов в полете масло опять замерзло.

Масло подогрето на примусе, и машина снова летит.

Вот Олекминск. Косой горизонт. Самолет кружит над городом. Через четверть часа перед нами на столе шумит ярко начищенный самовар. Телеграф приносит известия о плохой погоде. Приходится задержаться на некоторое время.

Мы уже не сушим торбазов у камелька, не развешиваем на грядках и деревянных гвоздях свои одежды. Наши торбаза сухи, и нет камельков на авиастанциях. О них мне напоминает запах дыма, который никак не выветривается из моего шарфа.

Горы в лесах.

Леса в снегах.

Самолет идет на юг, к Иркутску.

Позади Ичора и Верхолениск. Мотор работает гулко и мерно.

Зимой реки кажутся с самолета белыми лентами, брошенными среди черных массивов кедровника и лиственниц.

Под нами людный тракт.

Ленский рейс заканчивается.

Подходим к Иркутску на высоте тысяча четыреста метров. Пакет парторга — моряка Козловского при мне в целости и сохранности. Он будет передан в Москве по назначению. Не погибли в студеное пути и мои беглые записи... Вон цепочка муравьев. Присматриваюсь. Это движутся на Север грузовики. Вереница грузовых машин.

Идут грузы на дальний север.

Смотрю с самолета на великие сибирские просторы. Я вижу, как прорубаются просеки в девственной тайге, проводятся большие дороги, телеграфные линии, рубятся новые стройки в глухомани, где вчера хозяйничали палы — пожары да якутский «дед» — медведь.

И все это только начало. Пройдет несколько пятилеток и Якутию, как и Чукотку, не узнать.

В Иркутске из аэропорта еду на вокзал. Ангара разломала свой ледяной покров и лежит вся в торосах, словно здесь было землетрясение. Такого мощного торошения не увидеть даже в Ледовитом океане.

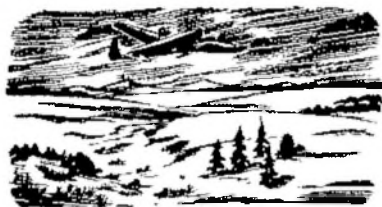
Так и Союз Советских Социалистических Республик — моя страна, двигаясь вперед, давно взорвал устои старой жизни.

Строится новая жизнь на нашей большой, неохватной земле. И слышится мощное «тагам» на тысячи и тысячи километров! Слышит и видит

весь мир, как шагает советский народ вперед к новой жизни. И никакая вражья сила не сможет никогда остановить это победное могучее движение.

Тагам, моя Родина!

Тагам! Вперед!



# Послесловие

...Книга закончена. А жизнь на северных широтах Советского Союза продолжает безостановочно идти вперед, как и по всей стране, к высотам коммунизма.

Давно уже живет Чукотка полной жизнью без кулаков-богатеев, без келетейгинов. Комсомольцы, которых встретил я много лет назад на Чукотской земле, давно стали коммунистами. Они перестраивают жизнь на родной земле, согласно великому учению Ленина — Сталина.

На безлюдных мысах, на отдаленных северных реках возникли промышленные центры. Радиостанции и самолеты связывают наш Крайний Север со всей страной.

Когда корабли Первой северо-восточной экспедиции возвращались из Арктики домой, на мысе Чаплина был организован первый чукотский колхоз «Новая жизнь». Ныне много колхозов раскинулось на Чукотской земле, поднялись здания колхозных школ, клубов, мачты радиостанций.

За два десятилетия чукотская тундра из района отсталого оленеводства превратилась в район сплошной скотоводческой коллективизации. Чукчи создали на своей земле колхозы-миллионеры. Колхозы есть не только в тундре, но и на морском берегу. Береговое население, объединившись в колхозы, занимается морским промыслом на современных моторных судах. На морском берегу работают моторно-зверобойные станции.

Появилась и чукотская промышленность, промышленные комбинаты...

Олени и собаки еще долго будут нести свою службу на Крайнем Севере. Мы знаем: рядом с ними есть и самолет и вездеход.

Мы встречаем чукчу — депутата своего народа — на сессии Верховного Совета СССР.

Каждый год выпускают новую интеллигенцию чукотское педагогическое училище и окружная школа колхозных кадров.

Мы видим чукчей среди студентов Ленинградского и Московского университетов.

Чукча-олeneвод Тальвавтын из колхоза «Турваургын» Восточно-Тундровского района рассказал в печати, что прожил на свете много лет. И теперь ему кажется, что над всей прошлой жизнью чукчей лежал тяжелый пласт снега и льда, из-под которого, казалось, вовек не выбраться. На помощь чукчам пришел самый большой человек — товарищ Сталин. С его помощью выбрались к свету кочевые и приморские чукчи из-под тяжелого гнета старой жизни. Ни лед, ни снег не помешали чукчам глядеть вперед, строить новую жизнь, как учит товарищ Сталин.

Свыше двенадцати лет уже существует Хабаровский педагогический институт. Лучшие молодые представители наших северных окраин приезжают сюда ежегодно из тундры и тайги, чтобы приобщиться к великому делу, стать педагогами в родной тайге и тундре.

Из стен Хабаровского педагогического института уже вышло около полутора тысяч учителей. Как знамя, несут они на Крайний Север великое учение Ленина — Сталина, мобилизуют своих учеников на ревностный труд, зовут к борьбе за мир, против поджигателей войны, американо-английских империалистов.

Около двух десятков учителей, закончивших институт в Хабаровске, собрались в последний раз, чтобы выслушать напутственное слово заведующей кафедрой северных языков Н. А. Богдановой. Она сказала своим ученикам:

— По ту сторону Берингова пролива, под властью американского доллара томятся аборигены, лишенные всяких человеческих прав, обреченные на вымирание.

Наше счастье, что мы живем под солнцем Сталинской Конституции. Несите же на Советский Север светоч знаний, чтобы еще краше была жизнь нашего народа!

Эти слова я прочитываю в одном из последних номеров «Огонька» и передо мною по-новому встает далекая восточная тундра.

Невольно вспоминаются знаменательные слова чукотского поэта Эрмитэгина. В них сыновняя радость и признательность жителя далекой тундры, где жизнь шагает вперед в ногу со всей советской страной, с помощью великого русского народа, под знаменем Ленина — Сталина:

В тундре кипит новая жизнь,  
Строится в тундре моей коммунизм!  
Друг за другом, один за другим  
Мы запеваем радостный гимн:  
Ленин велик, Сталин велик!  
Песня над тундрой звенит, как родник<sup>[13]</sup>.

Эти слова вместе с поэтом-чукчей Эрмитэгином повторяет народ, прошедший за короткий срок неслыханный в истории путь.

В стихах поэтов Чукотки — радость людей, шагнувших из темноты примитивного первобытного существования к социализму.

Когда зимой 1932 года мои нарты чертили свой, казалось, бесконечный путь по снегам Якутии, самыми большими сооружениями Якутии была строящаяся ЦЭС и кожевенный завод. Ныне по некоторым отраслям своей промышленности Якутская АССР занимает ведущее место в СССР.

В республике создано более тысячи предприятий местного и союзного значения с десятками тысяч квалифицированных рабочих. Богатства недр необъятной тайги и тундры служат делу социализма.

---

<sup>13</sup> Мы — люди Севера. Рассказы, повести, стихи и песни писателей и поэтов народов Севера. Изд-во Мол. Гвардия, 1949 г.



Собственные рудники стали топливной базой промышленности и ленских пароходств. Открыты и освоены большие месторождения цветных металлов.

Давно освободилась Якутия от гнета кулаков и тойонов. В Якутии работает более 900 коллективных хозяйств. 14 машинно-тракторных станций обслуживают якутские колхозы. Вместо первобытных самодельных деревянных сох, запряженных быками, на якутскую землю пришли тракторы, комбайны, молотилки и другие сложные машины.

Ныне в колхозных стадах насчитывается много сот тысяч голов крупного рогатого скота, лошадей и оленей. Мастерам-животноводам присвоено высокое звание Героев Социалистического Труда.

Ни полярная ночь, ни слепящая пурга, ни свирепые морозы и ветры, ни бездорожье тундры, ни лед полярных морей не смогли остановить строительства социализма на Крайнем Севере.

Как замечательно подтверждает жизнь Якутии глубокую мудрость слов товарища Сталина:

«Географическая среда, бесспорно, является одним: из постоянных и необходимых условий развития общества и она, конечно, влияет на развитие общества, — она ускоряет или замедляет ход развития общества. Но ее влияние не является *определяющим* влиянием, так как изменения и развитие общества происходят несравненно быстрее, чем изменения и развитие географической среды» (Краткий курс истории ВКП(б), гл. IV, стр. 113).

Царский генерал Зиновьев, воспитатель царя Александра III, в 1867 году начертал следующую резолюцию на ходатайстве поборника освоения Севера Михаила Сидорова:

«Так как на Севере постоянные льды и хлебопашество невозможно и никакие другие промыслы немислимы, то по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства, а вы хлопчете наоборот и объясняете о каком-то Гольфштреме, которого на Севере быть не может. Такие идеи могут приводить только помешанные».

Как говорится, комментарии излишни...

Неграмотность в Якутии была ликвидирована в основном уже к 1942 году. Среди лучших педагогов Якутской республики есть заслуженные учителя РСФСР.

До тридцати газет издается ныне в Якутии на русском и якутском языках. Книги научной, художественной, политической и технической литературы выходят ежегодно тиражом до миллиона экземпляров. На якутском языке изданы произведения классиков марксизма-ленинизма, русских классиков и современных советских писателей.

Многотысячная армия учителей обучает до 65 000 учащихся в шестистах с лишним школах. На территории республики работает свыше семисот больниц, медпунктов, диспансеров, санаториев, поликлиник. О

здоровье населения заботятся тысячи врачей, фельдшеров, акушеров, медсестер.

В 1947 году в Якутске организована научно-исследовательская база Академии наук СССР, которая превращена в филиал Академии наук СССР.

Столь разительны перемены, происшедшие на Севере!

В кратчайший срок проделан сказочный путь, совершен гигантский прыжок через вековую отсталость.

И в чукотской яранге теперь не редкость видеть электрический свет. Лампочки Ильича призывно горят в яранге Атыка и на мысу Медвежьем, куда близко подходит наш старый знакомый чукча Там-Там со стадами колхозных оленей. Близ мыса Медвежьего учатся в школе-интернате дети оленеводов — чаучу, откочевавших вместе с Там-Тамом в глубь тундры на сытные ягельники.

Там, где по безлюдью проезжали некогда мои нарты, ныне выросли советские новостройки. По недавно еще девственным рекам ходят советские пароходы, тянут вверх и вниз баржи с грузами, перевозят пассажиров.

Далекая и глухая Колыма стала одним из крупнейших промышленных районов Советского Союза, жемчужиной нашей страны. Я пришел впервые на Колыму с первыми ее пароходами. Я был свидетелем зарождения новых городов, поселков, затонов на этой девственной реке. И за короткий срок великих по своему размаху сталинских пятилеток здесь до неузнаваемости преобразилась жизнь.

В годы Отечественной войны далекая Колыма наравне с другими промышленными районами честно и преданно помогала стране в смертельной борьбе с фашистами. Помощь фронту, оказанная людьми Колымы, была настолько значительна, что они заслужили благодарность генералиссимуса товарища Сталина.

Ходят по Колыме пароходы, ведут на буксире счалы барж с грузами.

Здесь возникли горнообрабатывающие и горнодобывающие предприятия.

Ожили малые народы колымского Севера. На Колыме идут к зажиточной жизни крупные колхозы, располагающие новейшей техникой.

И в Магадане, как в Хабаровске, имеется ныне свой педагогический техникум, выпускающий ежегодно преподавателей — юкагиров, ламутов...

Свои крупные города и селения, свои газеты и журналы, свое издательство и даже свой замечательный курорт с горячим источником, воздушный и речной флот — ныне все это есть на прежде дикой Колыме.

Проснулась от векового сна колымская, индигирская, янская тайга.

И вспоминаются слова якута Андриюши Слепцова:

— Это ему — отцу, учителю и другу наше горячее сыновнее спасибо!

# Примечания

## 1

Алык — постромки нарты.

## 2

Остол — длинный шест, с помощью которого каюр управляет упряжкой и тормозит нарты при спуске.

## 3

Женщиной.

## 4

Трясина, топкое место.

## 5

Прибывший на шхуне «Киттиуэйк» в 1911 г.

## 6

Надо полагать: толченую кору лиственницы. — *М. З.*

## 7

Летнее жилище конусообразной формы. Там, где встречается береза, ураса обтянута берестой, за отсутствием бересты ураса обкладывается дерном и засыпается землей (по Матюшкину).

## 8

Наверно (колымское слово).

## 9

Домами.

## 10

Орон — нара.

## **11**

Сумгин М. И. Вечная мерзлота. Изд-во Академии наук СССР, Л., 1931, стр. 45–50.

## **12**

Толстихин Н. И. Вечная мерзлота или мерзлая зона земной коры. Проблемы советской геологии, № 8, 1935.

## **13**

Мы — люди Севера. Рассказы, повести, стихи и песни писателей и поэтов народов Севера. Изд-во Мол. Гвардия, 1949 г.